

СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ

Наши



АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

Двенадцать глав «Наших» создавались Довлатовым в начале 1980-х годов как самостоятельные рассказы. Герои — реальные люди, отсюда и один из вариантов названия будущей книги — «Семейный альбом», в которой звучит «негромкая музыка здравого смысла» (И. Бродский), помогающая нам сохранять достоинство в самых невероятных жизненных ситуациях.

- [Сергей Довлатов](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Послесловие](#)
-

Сергей Довлатов
Наши

Глава первая

Наш прадед Моисей был крестьянином из деревни Сухово. Еврей-крестьянин — сочетание, надо отметить, довольно редкое. На Дальнем Востоке такое случалось.

Сын его Исаак перебрался в город. То есть восстановил нормальный ход событий.

Сначала он жил в Харбине, где и родился мой отец. Затем поселился на одной из центральных улиц Владивостока.

Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь. Потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метранпажа. А через два года приобрел закусочную на Светланке.

Рядом помещалась винная лавка Замараева — «Нектар, бальзам». Дед мой частенько наведывался к Замараеву. Друзья выпивали и беседовали на философские темы. Потом шли закусывать к деду. Потом опять возвращались к Замараеву...

— Душевный ты мужик, — повторял Замараев, — хоть и еврей.

— Я только по отцу еврей, — говорил дед, — а по матери я нидерлан!

— Ишь ты! — одобрительно высказывался Замараев.

Через год они выпили лавку и съели закусочную.

Престарелый Замараев уехал к сыновьям в Екатеринбург. А мой дед пошел на войну. Началась японская кампания.

На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его достигали погон.

Государь приблизился к деду. Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь.

Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею.

Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие.

Как-то раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку. Орудийный расчет должен был поддержать атакующих. Но орудия молчали. Как выяснилось, спина моего деда заслонила неприятельские укрепления.

С фронта дед привез трехлинейную винтовку и несколько медалей. Вроде бы имелся даже Георгиевский крест.

Неделю он кутил. Потом устроился метрдотелем в заведение «Эдем».

Как-то раз повздорил с нерасторопным официантом. Стал орать. Трахнул кулаком по столу. Кулак очутился в ящике письменного стола.

Беспорядков мой дед не любил. Поэтому и к революции отнесся негативно. Более того, даже несколько замедлил ее ход. Дело было так.

Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы устремились в центр переулками.

После революции мой дед затих. Опять превратился в скромного ремесленника. Лишь иногда напоминал о себе. Так, однажды дед подорвал репутацию американской фирмы «Мерхер, Мерхер и К°».

Американская фирма через Японию завезла на Дальний Восток раскладушки. Хотя называть их так стали значительно позднее. Тогда это была сенсационная новинка. Под названием «Мэджик бэд».

Выглядели раскладушки примерно так же, как сейчас. Кусок цветастого брезента, пружины, алюминиевая рама...

Мой прогрессивный дед отправился в торговый центр. Кровать была установлена на специальном возвышении.

— Американская фирма демонстрирует новинку! — выкрикивал продавец. — Мечта холостяка! Незаменима в путешествии! Комфорт и нега! Желаете ощутить?!

— Желаю, — сказал мой дед.

Он, не расшнуровывая, стащил ботинки и улегся.

Раздался треск, запели пружины. Дед оказался на полу.

Продавец, невозмутимо улыбаясь, развернул следующий экземпляр.

Повторились те же звуки. Дед глухо выругался, потирая спину.

Продавец установил третью раскладушку.

На этот раз пружины выдержали. Зато беззвучно подогнулись алюминиевые ножки. Дед мягко приземлился. Вскоре помещение было загромождено обломками чудо-кровати. Свисали клочья пестрого брезента. Изгибалась тускло поблескивавшая арматура.

Дед, поторговавшись, купил бутерброд и удалился.

Репутация американской фирмы была подорвана. «Мерхер, Мерхер и К°» начали торговать хрустальными люстрами...

Дед Исаак очень много ел. Батоны разрезал не поперек, а вдоль. В гостях бабка Рая постоянно за него краснела. Прежде чем идти в гости, дед обедал. Это не помогало. Куски хлеба он складывал пополам. Водку пил из бокала для крем-соды. Во время десерта просил не убирать заливное.

Вернувшись домой, с облегчением ужинал...

У деда было три сына. Младший, Леопольд, юношей уехал в Китай. Оттуда — в Бельгию. Про него будет особый рассказ.

Старшие, Михаил и Донат, тянулись к искусству. Покинули захолустный Владивосток. Обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с дедом.

Сыновья женились. На фоне деда они казались щуплыми и беспомощными. Обе снохи были к деду равнодушны.

Устроился он работать кем-то вроде заведующего жилконторой. Вечерами ремонтировал часы и электроплитки. Был по-прежнему необычайно силен.

Как-то раз в Щербаковом переулке ему нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой.

Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Отстранил выскочившего из кабины шофера. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги.

Фары грузовика упирались в здание бани. Задний борт — в ограду Щербаковского сквера.

Водитель, осознав случившееся, заплакал. Он то плакал, то угрожал.

— Домкратом перетяну! — говорил он.

— Рискни... — отвечал ему дед.

Грузовик двое суток торчал в переулке. Затем был вызван подъемный кран.

— Что же ты просто не дал ему в морду? — спросил отец.

Дед подумал и ответил:

— Боюсь увлечься...

Я уже говорил, что младший сын его, Леопольд, оказался в Бельгии. Как-то раз от него прибыл человек. Звали его Моня. Моня привез деду смокинг и огромную надувную жирафу. Как выяснилось, жирафа служила подставкой для шляп.

Моня поносил капитализм, восхищался социалистической индустрией, затем уехал. Деда вскоре арестовали как бельгийского шпиона. Он получил десять лет. Десять лет без переписки. Это означало — расстрел. Да он бы и не выжил. Здоровые мужчины тяжело переносят голод. А произвол и хамство — тем более...

Через двадцать лет отец стал хлопотать насчет реабилитации. Деда реабилитировали за отсутствием состава преступления. Спрашивается, что же тогда присутствовало? Ради чего прервали эту нелепую и забавную жизнь?..

Я часто вспоминаю деда, хотя мы и не были знакомы.

Например, кто-то из друзей удивляется:

— Как ты можешь пить ром из чашки?

Я сразу вспоминаю деда.

Или жена говорит мне:

— Сегодня мы приглашены к Домбровским. Надо тебе заранее пообедать.

И я опять вспоминаю этого человека.

Вспоминал я его и в тюремной камере...

У меня есть несколько фотографий деда. Мои внуки, листая альбом, будут нас путать...

Глава вторая

Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали вспыльчивым человеком. Жена и дети трепетали от его взгляда.

Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал:

— АБАНАМАТ!

Это таинственное слово буквально парализовало окружающих. Внушало им мистический ужас.

— АБАНАМАТ! — восклицал дед.

И в доме наступала полнейшая тишина.

Значения этого слова мать так и не уяснила.

Я тоже долго не понимал, что это слово означает. А когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем?..

Мне кажется, тяжелый характер деда был результатом своеобразного воспитания. Отец-крестьянин бил его в детстве поленом. Раз опустил на бадье в заброшенный колодец. Продержал его в колодце около двух часов. Затем опустил туда же кусок сыра и полбутылки напареули. И лишь час спустя вытащил деда, мокрого и пьяного...

Может быть, поэтому дед вырос таким суровым и раздражительным.

Был он высок, элегантен и горд. Работал приказчиком в магазине готовой одежды Эпштейна. А в преклонные годы был совладельцем этого магазина.

Повторяю, он был красив. Напротив его дома жили многочисленные князья Чикваидзе. Когда дед переходил улицу, молоденькие — Этери, Нана и Галатея Чикваидзе выглядывали из окон.

Вся семья ему беспрекословно подчинялась.

Он же — никому. Включая небесные силы. Один из поединков моего деда с Богом закончился вничью.

В Тифлисе ожидали землетрясения. Уже тогда существовали метеорологические центры. Кроме того, имелись разнообразные народные приметы. Священники ходили по домам и оповещали население.

Жители Тифлиса покинули свои квартиры, захватив ценные вещи. Многие вообще ушли из города. Оставшиеся жгли костры на площадях.

В богатых кварталах спокойно орудовали грабители. Уносили мебель,

посуду, дрова.

И лишь в одном из домов Тбилиси горел яркий свет. Точнее, в одной из комнат этого дома. А именно — в кабинете моего деда. Он не захотел покидать свое жилище. Родственники пытались увещевать его, но безрезультатно.

— Ты погибнешь, Степан! — говорили они.

Дед недовольно хмурился, затем угрюмо и торжественно произносил:

— К-а-а-кэм!..

(Что переводится, уж извините, — «Какал я на вас!».)

Бабка увела детей на пустырь. Они унесли из дома все необходимое, захватили собаку и попугая.

Землетрясение началось под утро. Первый же толчок разрушил водонапорную башню. В течение десяти минут рухнули сотни зданий. Над городом стояли клубы розовой от солнца пыли. Наконец, толчки прекратились. Бабка устремилась домой, на Ольгинскую.

Улица была загромождена дымящимися обломками. Кругом рыдали женщины, лаяли собаки. В бледном утреннем небе тревожно кружились галки. Нашего дома больше не существовало. Вместо него бабка увидела запорошенную пылью грудку кирпичей и досок.

Посреди руин сидел в глубоком кресле мой дед. Он дремал. На коленях его лежала газета. У ног стояла бутылка вина.

— Степан, — вскричала бабка, — Господь покарал нас за грехи! Он разрушил наш дом!..

Дед открыл глаза, посмотрел на часы и, хлопнув в ладоши, скомандовал:

— Завтракать!

— Господь оставил нас без крова! — причитала бабка.

— Э-э, — сказал мой дед.

Затем пересчитал детей.

— Что мы будем делать, Степан? Кто приютит нас?!

Дед рассердился.

— Господь лишил нас крова, — сказал он, — ты лишаешь пищи... А приютит нас Беглар Фомич. Я крестил двух его сыновей. Старший из них вырос бандитом... Беглар Фомич — хороший человек. Жаль, что он разбавляет вино...

— Господь милостив, — тихо произнесла бабка.

Дед нахмурился. Сдвинул брови. Затем наставительно и отдельно выговорил:

— Это не так. Зато милостив Беглар. Жаль, что он разбавляет

напареули.

— Господь вновь покарает тебя, Степан! — испугалась бабка.

— К-а-а-кэм! — ответил дед...

К старости его характер окончательно испортился. Он не расставался с увесистой палкой. Родственники перестали звать его в гости — он всех унижал. Он грубил даже тем, кто был старше его, — явление на Востоке редчайшее.

От его взгляда из рук женщин падали тарелки.

Последние годы дед уже не вставал. Сидел в глубоком кресле у окна. Если кто-то проходил мимо, дед выкрикивал:

— Прочь, ворюга!

Сжимая при этом бронзовый набалдашник трости.

Вокруг деда наметилась опасная зона радиусом полтора метра. Такова была длина его палки...

Я часто стараюсь понять, отчего мой дед был таким угрюмым? Что сделало его мизантропом?..

Человек он был зажиточный. Обладали представительной внешностью и крепким здоровьем. Имел четверых детей и любящую верную жену.

Возможно, его не устраивало мироздание как таковое? Полностью или в деталях? Например, смена времен года? Нерушимая очередность жизни и смерти? Земное притяжение? Контрадикция моря и суши? Не знаю...

Умер мой дед при страшных обстоятельствах. Второй его поединок с Богом закончился трагически.

Десять лет он просидел в глубоком кресле. В последние годы уже не хватался за трость. Только хмурился...

(О, если бы взгляд мог служить техническим орудием!..)

Дед стал особенностью пейзажа. Значительной и эффектной деталью местной архитектуры. Иногда на его плечи садились грачи...

В конце нашей улицы за рынком был глубокий овраг. На дне его пенился ручей, огибая серые мрачные валуны. Там же белели кости загубленных лошадей. Валялись обломки телег.

Детям не разрешалось приближаться к оврагу. Жены говорили пьяным мужьям, вернувшимся на заре:

— Слава Богу! Я думала, ты угодил в овраг...

Однажды летним утром мой дед неожиданно встал. Встал и твердой походкой ушел из дому.

Когда дед переходил улицу, замужние толстухи Этери, Нана и Галатея Чикваидзе выглядывали из окон.

Высокий и прямой, он направился к рынку. Если с ним здоровались, не

реагировал.

Дома его исчезновение заметили не сразу. Как не сразу заметили бы исчезновение тополя, камня, ручья...

Дед стал на краю обрыва. Отбросил трость. Поднял руки. Затем шагнул вперед.

Его не стало.

Через несколько минут прибежала бабка. За ней — соседи. Они громко кричали и плакали. Лишь к вечеру их рыдания стихли.

И тогда сквозь неумолкающий шум ручья, огибавшего мрачные валуны, донеслось презрительное и грозное:

— К-А-А-КЭМ! АБАНАМАТ!..

Глава третья

Дядя Роман Степанович любил повторять:

— В здоровом теле — соответствующий дух!..

В юности он был тифлисским кинто. Перевести это слово довольно трудно. Кинто — не хулиган, не пьяница, не тунеядец. Хотя он выпивает, безобразничает и не работает... Может быть — повеса? Затрудняюсь...

У моего дяди был огромный кинжал. Он с юности любил вино напареули и полных блондинок...

Чуть ли не главное достоинство истинного кинто — остроумие. Юмор моего дяди отличался некоторым своеобразием. Так, например, мой четырнадцатилетний дядя омрачил юбилей грузинской советской республики.

Дело происходило следующим образом. В Тбилиси широко отмечалась знаменательная годовщина — семилетие республики. Огромный зал Дворца культуры имени Либкнехта был переполнен. Высокое начальство произносило речи. Вслед за ним шли на сцену представители этнических меньшинств. От армян выступала тетка, дядина сестра. Звали ее Анеля. К выступлению тетка Анеля готовилась недели две.

— Вот уже семь лет... — начала она.

Зал притих.

— Вот уже семь лет... — повторила тетка.

Где-то звякнул номерок. Кто-то на цыпочках пробирался между рядами.

— Вот уже семь лет... — окрепшим голосом произнесла тетка Анеля.

За ее спиною лукаво щурился на портрете генералиссимус. Наступила полная тишина.

И тогда в зале раздался оживленный голос моего дяди:

— Вот уже семь лет, как Анелю замуж не берут...

Тетка Анеля, рыдая, покинула сцену. Дядю Романа сутки продержали в милиции...

Еще до войны мой дядя решил поступить в университет и стать философом. Решение вполне естественное для человека, не имеющего конкретной цели. Все люди с неясным и туманным ощущением жизни мечтают заниматься философией.

Дядя Роман подал свои бумаги в университет. Шел экзамен по русской литературе. Дядя останавливал выходящих абитуриентов, спрашивая:

— Прости, дорогой! Что за вопрос тебе достался?

— Пушкин, — сказал один.

— Прекрасно! — воскликнул дядя. — Именно этого я не учил.

— Лермонтов, — сказал второй.

— Прекрасно! — воскликнул дядя. — Именно этого я не учил.

— Гоголь, — сказал третий.

— Прекрасно! — воскликнул дядя. — Именно этого я не учил.

Наконец, вызвали дядю Романа. Он шагнул к столу, вытащил билет и прочел:

«Творческий путь Грибоедова».

— Вай! Горе мне! — крикнул дядя. — Именно этого я не учил...

Когда началась война, дядя обрадовался. На войне ценились такие люди, как он. Дядя и в мирное-то время любил поскандалить.

Вернулся он подполковником. Война сделала его человеком.

Как все отставные подполковники, мой дядя заведовал техникой безопасности на фабрике «Луч». (Полковники возглавляют отделы кадров.)

Возможно, он разбирался в технике безопасности, это не исключено. Однако все его силы уходили на физкультурно-массовую работу. Дядя организовывал коллективные заплывы. Учреждал традиционные лыжные кроссы. Проводил волейбольные матчи. О нем писали в газетах.

В свои шестьдесят три года дядя отлично бегал на лыжах и мог успешно подражаться.

— В здоровом теле — соответствующий дух! — часто повторял он.

Меня дядя Роман искренне презирал. Я не делал утренней гимнастики. Не обливался ледяной водой. И вообще ненавидел резкие движения. А если мне хамили, шел на компромисс.

Впрочем, меня оскорбляли довольно редко. За всю жизнь раза три. И все три раза — мой дядя.

— Интеллигент! — кричал он. — Баба! Дохлый шпак!..

На вопрос, кто его любимый писатель, дядя быстро отвечал:

— Мартин Иден.

О своих кулачных подвигах рассказывал часами. Причем довольно много фантазировал. Когда же я расспрашивал его о войне, дядя упорно молчал. Не любил говорить об этом. Не знаю, почему...

У него были дети от Сухаревой Анны Григорьевны. Мальчик и девочка. Дядя регулярно навещал их. Просматривал школьные тетради, расписывался в дневнике. И неизменно повторял:

— В здоровом теле — соответствующий дух!

Как-то раз Анна Григорьевна возилась на кухне. Дети играли с отцом.

Неожиданно мой дядя пукнул. Дети стали хохотать.

На шум пришла Анна Григорьевна. Остановилась в дверях, сложила руки на груди и значительно произнесла:

— Все-таки детям нужен отец! Как они весело играют, шутят, смеются...

У дяди Романа была жена — Галина Павловна. Как она себя называла — медработник. Дядя ее любил и уважал. Поскольку она разделяла его философское кредо: «В здоровом теле — соответствующий дух».

Однажды в их квартиру позвонили. Дядя был на работе. А Галина как раз зашла домой пообедать. И вот раздался звонок.

— Кто? — спросила Галина.

Мужской голос ответил:

— Дайте попить беременной жене.

Отворилась дверь, и в прихожую шагнул рослый человек. Он достал заточенный рапикуль и без единого слова ударил хозяйку в живот. Она рванулась к телефону. Теряя сознание, крикнула:

— Рома! Спаси! Убивают...

Дядя приехал тридцать минут спустя на грузовой автомашине. К этому времени Галину увезла «скорая помощь». Бандита задержали соседи. Когда ему заламывали руки, он смеялся. Выяснить мотивы его действий так и не удалось. Возможно, это был маньяк...

Мой дядя тогда целый вечер плакал. А когда Галина вышла из больницы, приобрел овчарку.

Звали ее Голда. В этом сказывались дядино остроумие и едва заметный привкус антисемитизма.

Многие армяне (особенно грузинские армяне) недолгобливают евреев. Хотя куда логичнее бы им недолгобливать русских, грузин или турок. Евреи тоже не питают к армянам особых чувств. Видимо, изгой не склонны любить других отверженных. Им больше нравится любить хозяев. Или на худой конец — себя...

Овчарку звали Голда. Сначала она была прелестным косолапым щенком. Затем подросла, ее демонстрировали на выставке. Она даже получила какую-то второстепенную медаль. А затем без всякого повода жестоко искусила Галину.

Мой дядя хотел застрелить собаку, но жена его отговорила. Голду отдали на питомник. Дядя Роман все еще занимался утренней гимнастикой, был подтянутым и стройным. Он мог сесть на ходу в трамвай и урезонить любого хулигана. Однако хулиганы ему не попадались, а трамваев в городе совсем мало...

И тут мне сообщили, что дядя находится в психиатрической лечебнице. Галина Павловна сказала — «в нервной клинике». Но это была именно психиатрическая лечебница.

Я отправился в Удельный парк. Несколько стандартных коричневых построек были окружены чахлыми кустами и деревьями. По дорожкам гуляли больные в одинаковых серых халатах. Халаты были либо слишком велики, либо чересчур малы. Как будто высоким людям специально навязали маленькие размеры. А низеньким и щуплым — огромные.

В основном больные гуляли поодиночке. Некоторые сдержанно и отрешенно жестикулировали. Я не испытывал страха, только жалость.

Наконец, позвали моего дядю. К моему удивлению, дядя выглядел оживленным и бодрым. Он даже немного загорел. Сказал, что кормят хорошо. А главное, разрешают подолгу быть на свежем воздухе.

Затем дядя придвинулся ко мне, тревожно огляделся и шепотом выговорил:

— Слушай меня внимательно. Очкарики затеяли колоссальную авантюру...

— Кто? — не понял я.

Дядя не ответил. С каким-то веселым задором он продолжал:

— Это будет пострашнее Варфоломеевской ночи...

Я растерялся. Я не был к этому готов. Не знал, как себя вести. Возражать или соглашаться.

Мимо шел юноша с питьевым бачком. Около крана чернела надпись: «Вода».

Мой дядя принужденно засвистел. Юноша скрылся за деревьями.

— Крови будет! — покачал головой дядя.

От ужаса я начал играть какую-то странную роль.

— Может, все обойдется? — сказал я.

— Пощады не жди, — тихо возразил дядя, — кого уничтожат, кого заставят расписаться. Но у меня есть идея. Слушай внимательно.

Дядя снова наклонился ко мне и, хитро подмигнув, заговорил:

— Любой самый гениальный план — уязвим. И рвется эта цепочка, как правило, в самом неожиданном месте. Едва заметное движение — и вот уже спутаны карты... Нарушены, как говорится, правила игры... Штука в том, что это должен быть абсолютно непредвиденный ход... и я его нашел. Слушай внимательно.

Мой дядя перестал улыбаться и заговорил, как офицер, лаконично и резко:

— Первый ход — основной. Второй — для страховки. На случай

провала. Не записывай, — перебил дядя.

— Хорошо, — сказал я.

— И запомни. Первое — курить сигареты без фильтра, и только без фильтра. Второе — надевать одновременно две пары трусов...

Дядя торжествующе засмеялся, потирая руки.

— Ты понял? — спросил он.

— Да, — сказал я.

— План остается в тайне. Ни единого слова даже близким людям. Иначе — все пропало. Ждите моих дальнейших распоряжений. А сейчас мне пора. Будь здоров. Спасибо за фрукты... Хотя они и являются фикцией чистой воды...

И он ушел, в нелепом халате, легкой спортивной походкой...

Через месяц мой дядя выздоровел. Мы виделись на семейных торжествах. Дядя застенчиво посмеивался.

Он рассказывал, что ежедневно бегают вокруг Лесотехнической академии. Чувствует себя здоровым и бодрым как никогда.

Специально для него были приготовлены тертые овощи. Рядом сидела Галина Павловна. На ее руках темнели шрамы от собачьих укусов.

Я представил себе, как мой дядя бежит рано утром вдоль ограды Лесотехнической академии.

О Господи, куда?!

Глава четвертая

Жизнь дяди Леопольда была покрыта экзотическим туманом. Что-то было в нем от героев Майн Рида и Купера. Долгие годы его судьба будоражила мое воображение. Сейчас это прошло.

Однако не будем забегать вперед.

У моего еврейского деда было три сына. (Да не смутит вас эта обманчивая былинная нота.) Звали сыновей — Леопольд, Донат и Михаил.

Младшему, Леопольду, как бы умышленно дали заморское имя. Словно в расчете на его космополитическую биографию.

Имя Донат — неясного, балтийско-литовского происхождения. (Что соответствует неясному положению моего отца. В семьдесят два года он эмигрировал из России.)

Носитель чисто православного имени, Михаил, скончался от туберкулеза в блокадном Ленинграде.

Согласитесь, имя в значительной степени определяет характер и даже биографию человека.

Анатолий почти всегда нахал и забияка.

Борис — склонный к полноте холерик.

Галина — крикливая и вульгарная склочница.

Зоя — мать-одиночка.

Алексей — слабохарактерный добряк.

В имени Григорий я слышу ноту материального достатка.

В имени Михаил — глухое предвестие ранней трагической смерти. (Вспомните Лермонтова, Кольцова, Булгакова...)

И так далее.

Михаил рос замкнутым и нелюдимым. Он писал стихи. Сколотил на Дальнем Востоке футуристическую группировку. Сам Маяковский написал ему умеренно хамское, дружеское письмо.

У моего отца есть две книги, написанные старшим братом. Одна называется «М-у-у». Второе название забыл. В нем участвует сложная алгебраическая формула.

Стихи там довольно нелепые. Одно лирическое стихотворение заканчивается так:

Я весь дрожал, и мне хотелось,
Об стенку лоб разбив, — упасть...

В сохранившейся рецензии на эту книгу мне запомнилась грубая фраза: «Пошли дурака Богу молиться, он и лоб разобьет!..»

Михаил был необычайно замкнутым человеком. Родственники даже не подозревали, чем он вообще занимается. Однажды, уже взрослыми людьми, Донат и Михаил столкнулись за кулисами Брянского летнего театра. Как выяснилось, братья участвовали в одной эстрадной программе. Донат был куплетистом. Михаил выступал с художественным чтением.

Старшие братья тянулись к литературе, к искусству. Младший, Леопольд, с детства шел иным, более надежным путем.

Леопольд рос аферистом.

В четырнадцать лет он спекулировал куревом на территории порта. Покупал у иностранных моряков сигары для ночного ресторана братьев Уриных. Затем перешел на чулки и косметику. Если требовалось, сопровождал иностранцев в публичный дом на Косой улице. Параллельно боксировал в атлетическом клубе «Икар». А по воскресеньям играл на трубе в городском саду.

К восемнадцати годам Леопольд осуществил свою первую настоящую аферу. Дело было так.

В один из центральных магазинов города зашел унылый скромный юноша. В руках его была обернутая мятой газетой скрипка. Юноша обратился к владельцу магазина Танакису:

— На улице ливень. Боюсь, моя скрипка намокнет. Не могу ли я временно оставить ее здесь?

— Почему бы и нет? — равнодушно ответил Танакис.

Час спустя в магазин явился нарядный иностранец с огромными, подозрительно рыжими усами. Долго разглядывал выставленные на полках товары. Затем протянул руку, откинул мятую газету и воскликнул:

— Не может быть! Не верю! Это сон! Разбудите меня! Какая удача — подлинный Страдивари! Я покупаю эту вещь!

— Она не продается, — сказал Танакис.

— Но я готов заплатить за нее любые деньги!

— Мне очень жаль...

— Пятнадцать тысяч наличными!

— Весьма сожалею, месье...

— Двадцать! — выкрикнул иностранец.

Танакис слегка порозовел:

— Я поговорю с владельцем.

— Вы получите щедрые комиссионные. Это же настоящий Страдивари! О, не будите, не будите меня!..

Вскоре пришел бледный юноша.

— Я пришел за скрипкой.

— Продайте ее мне, — сказал Танакис.

— Не могу, — печально ответил юноша, — увы, не могу. Это — подарок моего дедушки. Единственная ценная вещь, которой я обладаю.

— Я заплачу две тысячи наличными.

Юноша чуть не расплакался.

— Я действительно нахожусь в стесненных обстоятельствах. Эти деньги пришлись бы мне очень кстати. Я бы поехал на воды, как рекомендовал мне доктор Шварц. И все-таки — не могу... Это подарок...

— Три, — сказал владелец магазина.

— Увы, не могу!

— Пять! — рявкнул Танакис.

Он хорошо считал в уме. «Я дам пять тысяч этому мальчишке. Иностранец заплатит мне двадцать тысяч плюс комиссионные. Итого...»

— Дедушка, прости, — хныкал юноша, — прости и не сердись. Обстоятельства вынуждают меня пойти на этот шаг!..

Танакис уже отсчитывал деньги.

Юноша поцеловал скрипку. Затем, почти рыдая, удалился.

Танакис довольно потирал руки... За углом юноша остановился. Тщательно пересчитал деньги. Затем вынул из кармана огромные рыжие усы. Бросил их в канаву и зашагал прочь...

Через несколько месяцев Леопольд бежал из дома. В трюме океанского парохода достиг Китая. В пути его укусила крыса.

Из Китая он направился в Европу. Обосновался почему-то в Бельгии.

Суровый дед Исаак не читал его открыток.

— Малхамовес, — говорил дед, — пере одом.

И как будто забыл о существовании Леопольда. Бабка тайно плакала и молилась.

— В этой Бельгии, наверное, сплошные гои, — твердила она.

Прошло несколько лет. Опустился железный занавес. Известия от Леопольда доходить перестали.

Затем приехал некий Моня. Жил у деда с бабкой неделю. Сказал, что Леопольд идет по торговой части.

Моня восхищался размахом пятилеток. Распевал: «Наш паровоз, вперед лети!..» При этом был явно невоспитанным человеком. Из уборной орал на всю квартиру:

— Папир! Папир!

И бабка совала ему в щель газету.

Затем Моня уехал. Вскоре деда расстреляли как бельгийского шпиона.

О младшем сыне забыли на целых двадцать лет.

В шестьдесят первом году мой отец случайно зашел на центральный телеграф. Разговорился с одной из чиновниц. Узнал, что здесь имеются адреса и телефоны всех европейских столиц. Раскрыл телефонную книгу Брюсселя. И немедленно обнаружил свою довольно редкую фамилию...

— Я могу заказать разговор?

— Разумеется, — был ответ.

Через три минуты дали Брюссель. Знакомый голос четко произнес:

— Хелло!

— Леопольд! — закричал мой отец.

— Подожди, Додик, — сказал Леопольд, — я выключу телевизион...

Братья начали переписываться.

Леопольд писал, что у него есть жена Хелена, сын Романо и дочь Моник. А также пудель, которого зовут Игорь. Что у него «свое дело». Что он торгует пишущими машинками и бумагой. Что бумага дорожает, и это его вполне устраивает. Что инфляция тем не менее почти разорила его.

Свою бедность Леопольд изображал так:

«Мои дома нуждаются в ремонте. Автомобильный парк не обновлялся четыре года...»

Письма моего отца звучали куда более радужно: «...Я — литератор и режиссер. Живу в небольшой уютной квартире. (Он имел в виду свою перегородленную фанерой комнатку.) Моя жена уехала на машине в Прибалтику. (Действительно, жена моего отца ездила на профсоюзном автобусе в Ригу за колготками.) А что такое инфляция, я даже не знаю...»

Мой отец завалил Леопольда сувенирами. Отослал ему целую флотилию деревянных ложек и мисок. Мельхиоровую копию самовара, принадлежавшего Льву Толстому. Несколько фигурок из уральских самоцветов. Юбилейное издание «Кобзаря» Шевченко размером с надгробную плиту. А также изделие под названием «Ковчежец бронзированный».

Леопольд откликнулся белоснежным носовым платком в красивой упаковке.

Затем выслал отцу трикотажную майку с надписью «Эдди Шапиро — колеса и покрышки». Мой отец не сдавался. Он позвонил знакомому инструктору горкома. Раздобыл по блату уникальный сувенир. А именно — сахарную голову килограммов на восемь. В голубой сатинированной

бумаге. Этакий снаряд шестидюймового калибра. И надпись с ятями: «Торговый дом купца первой гильдии Елпидифора Фомина».

Знакомого инструктора пришлось напоить коньяком. Уникальный сувенир был выслан Леопольду.

Через два месяца — извещение на посылку. Вес — десять с половиной килограммов. Пошлина — шестьдесят восемь рублей.

Мой отец необычайно возбудился. Идя на почту, фантазировал:

«Магнитофон... Дубленка... Виски...»

— Сколько, по-твоему, весит дубленка?

— Килограмма три, — отвечал я.

— Значит, он выслал три дубленки...

Служащий главпочтамта вынес тяжелый ящик.

— Возьмем такси, — сказал отец.

Наконец мы приехали домой. Отец, нервно посмеиваясь, достал стамеску. Фанерная крышка с визгом отделилась.

— Идиот! — простонал мой отец.

В ящике мы обнаружили десять килограммов желтоватого сахарного песку...

Через восемь лет нам с матерью пришлось эмигрировать. Мы оказались в Австрии. Хозяин гостиницы Рейнхард был очень любезен по отношению к нам. Каждое утро нам подавали чай с теплыми булочками и джемом. Каждое утро хозяин неизменно спрашивал:

— Желаешь рюмку водки?..

Кроме того, он дал нам радиоприемник и электрический тостер.

По вечерам мы иногда беседовали с ним.

Я узнал, что Рейнхард перебрался из Восточного сектора на Запад. Что он — инженер-строитель. Что работа в гостинице тяготит его, хоть и приносит немалый доход...

— Ты женат? — спросил я.

— Эрика живет в Зальцбурге.

— Есть мнение, что брак на грани развода самый долговечный.

— Я уже перешел эту грань. И все-таки женат... Ты удивлен?

— Нет, — сказал я.

— Ты состоял в партии?

— Нет.

— А в молодежном союзе?

— Да. Это получилось автоматически.

— Я понимаю. Тебе нравится Запад?

— После тюрьмы мне все нравится.

— Мой отец был арестован в сороковом году. Он называл Гитлера «браун швайне».

— Он был коммунист?

— Нет. Он не был комми. и даже не был красным. Просто — образованный человек. Знал латынь... Ты знаешь латынь?

— Нет.

— И я не знаю. И мои дети не будут знать. А жаль... Я думаю, латынь и Род Стюарт несовместимы.

— Кто такой Род Стюарт?

— Шизофреник с гитарой. Желает рюмку водки?

— Давай.

— Я принесу сэндвичи.

— Это лишнее.

— Ты прав...

Из Вены я написал Леопольду. Мой дядя позвонил в гостиницу. Сказал, что прилетит в конце недели. Точнее — в субботу. Остановится в «Колизеуме». Просит меня в субботу не завтракать.

— Я угощу тебя в хорошем ресторане, — сказал он...

Рано утром я сидел в холле «Колизеума». Выглядела эта гостиница куда шикарнее нашей. По залу разгуливали изысканные собаки. Гардеробщик был похож на киноактера.

Ровно в одиннадцать спустился дядя. Я сразу узнал его. Леопольд был так похож на моего отца — высокий, элегантный, с красивыми искусственными зубами. Рядом шла молодая женщина.

Я знал, что должен обнять этого, в сущности, незнакомого человека.

Мы обнялись. Я поцеловал Хелене руку, в которой она держала зонтик.

— До чего ты огромный! — закричал Леопольд. — А где мама?

— Она нездорова.

— Как жаль! Я видел ее фотографии. Ты очень похож на мать.

Я протянул ему сверток. Там была икра, деревянные матрешки и холщовая скатерть.

— Спасибо! Мы оставим вещи у портье. Я тоже имею подарки для вас... А сейчас мы пойдем в ресторан. Ты любишь рестораны?

— Как-то не задумывался.

— Там приятная музыка, красивые женщины...

Мы шли по направлению к центру. Леопольд говорил, не умолкая.

Хелена молча улыбалась.

— Посмотри, сколько машин! Ты когда-нибудь видел заграничные

машины?

— В Ленинграде много туристов...

— Вена — маленький город. Да и Брюссель тоже. В Америке машин гораздо больше. А какие там магазины! В Ленинграде есть большие магазины?

— Магазины-то есть, — говорю.

— Какой же ты огромный! Тебя, наверное, любят женщины?

— Это скоро выяснится.

— Я понимаю. Твоя жена в Америке. Мы посетили ее в Риме. У нее был пластик вместо сумочки. Я подарил ей хорошую сумку за шестьдесят долларов... Стоп! Здесь мы позавтракаем. По-моему, это хороший ресторан.

Мы вошли, разделись, сели у окна.

Заиграла негромкая музыка общего типа. Красивых женщин я что-то не заметил.

— Заказывай все, что хочешь, — предложил Леопольд, — может быть, стейк или дичь?

— Мне все равно. На ваше усмотрение.

— Говори мне, пожалуйста, — «ты». Я же твой дядя.

— На твое усмотрение.

— Что-нибудь из деликатесов? Ты любишь деликатесы?

— Не знаю.

— Я очень люблю деликатесы. Но у меня больная печень. Я закажу тебе рыбный паштет и немного спаржи.

— Отлично.

— Что ты будешь пить?

— Может быть, водку?

— Слишком рано. Я думаю, — белое вино или чай.

— Чай, — сказал я.

— И фисташковое мороженое.

— Отлично.

— Что ты будешь пить? — обратился Леопольд к жене.

— Водку, — сказала Хелена.

— Что? — переспросил Леопольд.

— Водку, водку, водку! — повторила она.

Подошел официант, черноволосый, коренастый, наверное — югослав или венгр.

— Это мой племянник из России, — произнес Леопольд.

— Момент, — произнес официант.

Он исчез. Внезапно музыка стихла. Раздалось легкое шипение. Затем я услышал надоевшие аккорды «Подмосковных вечеров».

Появился официант. Его физиономия сияла и лоснилась.

— Благодарю вас, — сказал я.

— Он получит хорошие чаевые, — шепнул мне Леопольд.

Официант принял заказ.

— Да, я чуть не забыл, — воскликнул Леопольд, — скажи, как умерли мои родители?

— Деда арестовали перед войной. Бабка Рая умерла в сорок шестом году. Я ее немного помню.

— Арестовали? За что? Он был против коммунистов?

— Не думаю.

— За что же его арестовали?

— Просто так.

— Боже, какая дикая страна, — глухо выговорил Леопольд, — объясни мне что-нибудь.

— Боюсь, что не сумею. Об этом написаны десятки книг.

Леопольд вытер платком глаза.

— Я не могу читать книги. Я слишком много работаю... Он умер в тюрьме?

Мне не хотелось говорить, что деда расстреляли. И Моню я не стал упоминать. Зачем?..

— Какая дикая страна! Я был в Америке, Израиле, объездил всю Европу... А в Россию не поеду. Там шахматы, балет и «черный ворон»... Ты любишь шахматы?

— Не очень.

— А балет?

— Я в нем мало разбираюсь.

— Это какая-то чепуха с привидениями, — сказал мой дядя.

Потом спросил:

— Твой отец хочет ехать сюда?

— Я надеюсь.

— Что он будет здесь делать?

— Стареть. В Америке ему дадут небольшую пенсию.

— На эти деньги трудно жить в свое удовольствие.

— Не пропадем, — сказал я.

— Твой отец романтик. В детстве он много читал. А я — наоборот — рос совершенно здоровым... Хорошо, что ты похож на мать. Я видел ее фотографии. Вы очень похожи...

— Нас даже часто путают, — сказал я.

Официант принес мороженое. Дядя понизил голос:

— Если тебе нужны деньги, скажи.

— Нам хватает.

— и все-таки, если понадобятся деньги, сообщи мне.

— Хорошо.

— А теперь давайте осмотрим город. Я возьму такси...

Что мне нравилось в дяде — передвигался он стремительно. Где бы мы ни оказывались, то и дело повторял:

— Скоро будем обедать.

Обедали мы в центре города, на террасе. Играл венгерский квартет. Дядя элегантно и мило потанцевал с женой. Потом мы заметили, что Хелена устала.

— Едем в отель, — сказал Леопольд, — я имею подарки для тебя.

В гостинице, улучив момент, Хелена шепнула:

— Не сердись. Он добрый, хоть и примитивный человек.

Я ужасно растерялся. Я и не знал, что она говорит по-русски. Мне захотелось поговорить с ней. Но было поздно...

Домой я вернулся около семи. В руках у меня был пакет. В нем тихо булькал одеколон для мамы. Галстук и запонки я положил в карман.

В холле было пусто. Рейнхард возился с калькулятором.

— Я хочу заменить линолеум, — сказал он.

— Неплохая мысль.

— Давай выпьем.

— С удовольствием.

— Рюмки взяли парни из чешского землячества. Ты можешь пить из бумажных стаканчиков?

— Мне случалось пить из футляра для очков.

Рейнхард уважительно приподнял брови.

Мы выпили по стакану бренди.

— Можно здесь и переночевать, — сказал он, — только диваны узкие.

— Мне доводилось спать в гинекологическом кресле.

Рейнхард поглядел на меня с еще большим уважением.

Мы снова выпили.

— Я не буду менять линолеум, — сказал он. — Я передумал, ибо мир обречен.

— Это верно, — сказал я.

— Семь ангелов, имеющие семь труб, уже приготовились.

Кто-то постучал в дверь.

— Не открывай, — сказал Рейнхард, — это конь бледный... И всадник, которому имя — смерть.

Мы снова выпили.

— Пора, — говорю, — мама волнуется.

— Будь здоров, — с трудом выговорил Рейнхард, — чао. И да здравствует сон! Ибо сон — бездеятельность. А бездеятельность — единственное нравственное состояние. Любая жизнедеятельность есть гниение... Чао!..

— Прощай, — сказал я, — жизнь абсурдна! Жизнь абсурдна уже потому, что немец мне ближе родного дяди...

С Рейнхардом мы после этого виделись ежедневно. Честно говоря, я даже не знаю, как он проник в этот рассказ. Речь-то шла совсем о другом человеке. О моем дяде Лео...

Да, линолеум он все-таки заменил...

Леопольда я больше не видел. Некоторое время переписывался с ним. Затем мы уехали в Штаты. Переписка заглохла.

Надо бы послать ему открытку к Рождеству...

Глава пятая

Сначала тетка Мара была экспедитором. Затем более квалифицированной типографской работницей, если не ошибаюсь — линотиписткой. Еще через некоторое время — корректором. После этого — секретарем редакции.

И затем всю жизнь она редактировала чужие книги.

Тетка редактировала книги многих замечательных писателей. Например, Тынянова, Зощенко, Форш...

Судя по автографам, Зощенко относился к ней хорошо. Все благодарил ее за совместную работу...

Тетка была эффектной женщиной. В ее армянской, знойной красоте было нечто фальшивое. Как в горном пейзаже или романтических стихотворениях Лермонтова.

Тетка была наблюдательной и остроумной. Обладала хорошей памятью. Много из того, что она рассказывала, я запомнил навсегда. Вспоминается, например, такой эпизод из ее жизни.

Как-то раз она встретила на улице Михаила Зощенко. Для писателя уже наступили тяжелые времена. Зощенко, отвернувшись, быстро прошел мимо.

Тетка догнала его и спрашивает:

— Отчего вы со мной не поздоровались?

Зощенко усмехнулся и говорит:

— Извините. Я помогаю друзьям не здороваться со мной...

Тетка редактировала Юрия Германа, Корнилова, Сейфуллину. Даже Алексея Толстого. И о каждом знала что-нибудь смешное.

...Форш перелистывала в доме отдыха жалобную книгу. Обнаружила такую запись: «В каше то и дело попадают разнообразные лесные насекомые. Недавно встретился мне за ужином жук-короед...»

— Как вы думаете, — спросила Форш, — это жалоба или благодарность?..

Про Бориса Корнилова она тоже рассказала мне смешную историю.

...Николай Тихонов собирал материалы для альманаха. Тетка была секретарем этого издания. Тихонов попросил ее взять у Корнилова стихи. Корнилов дать стихи отказался.

— Клал я на вашего Тихонова с прибором, — заявил он.

Тетка вернулась и сообщает главному редактору:

— Корнилов стихов не дает. Клал, говорит, я на вас с ПРОБОРОМ...

— С прибором, — раздраженно исправил Тихонов, — с прибором. Неужели трудно запомнить?..

И про Алексея Толстого она знала много любопытного.

...Раз высокий и грузный Алексей Толстой шел по издательскому коридору. Навстречу бежала моя тетка. Худенькая и невысокая, она с разбегу ударилась Толстому головой в живот.

— Ого! — сказал Толстой, потирая живот. — А если бы здесь находился глаз?!

Тетка знала множество смешных историй.

Потом, самостоятельно, я узнал, что Бориса Корнилова расстреляли.

Что Зощенко восславил рабский лагерный труд.

Что Алексей Толстой был негодяем и лицемером.

Что Ольга Форш предложила вести летосчисление с момента, когда родился некий Джугашвили (Сталин).

Что Леонов спекулировал коврами в эвакуации.

Что Вера Инбер требовала казни своего двоюродного брата (Троцкого).

Что любознательный Павленко ходил смотреть, как допрашивают Мандельштама.

Что Юрий Олеша предал своего друга Шостаковича.

Что писатель Мирошниченко избивал жену велосипедным насосом...

И многое другое.

Тетка же помнила, в основном, смешные истории. Я ее не виню. Наша память избирательна, как урна.

Я думаю, моя тетка была хорошим редактором. Так мне говорили писатели, которых она редактировала. Хотя я не совсем понимаю, зачем редактор нужен вообще.

Если писатель хороший, редактор вроде бы не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет. По-моему, это совершенно ясно.

Я знаю, как моя тетка работала с авторами. Я иногда присутствовал. Например, она говорила:

— Юра, у тебя здесь четыре раза встречается слово «промозглый».

— Действительно, — удивлялся Юрий Павлович Герман, — как это я не заметил?

И все же я думаю, что редактор писателю не требуется. Даже хорошему. А уж плохому — тем более.

Был, например, такой исторический случай. В одном из своих романов Достоевский написал: «Рядом находился круглый стол овальной формы...»

Кто-то прочитал это сочинение в рукописи и говорит:

— Федор Михайлович, вы оговорились, надо бы исправить.

Достоевский подумал и сказал:

— Оставьте так...

Гоголь в ранних повестях употреблял слово «щекатурка». Как-то раз Аксаков ему говорит:

— Отчего это вы пишете — «щекатурка»?

— А как надо? — спросил Гоголь.

— Штукатурка.

— Не думаю, — сказал Гоголь.

— Поглядите в словаре.

Взяли словарь Даля. Посмотрели, действительно — штукатурка.

В дальнейшем Гоголь неизменно писал — «штукатурка». Но в переизданиях это слово не исправил.

Почему?

Почему Достоевский не захотел ликвидировать явную оговорку? Почему Александр Дюма назвал свой роман «Три мушкетера», хотя их безусловно четыре?

Таких примеров сотни.

Видимо, ошибки, неточности — чем-то дороги писателю. А значит, и читателю.

Как можно исправить у Розанова: «Мы ничего такого не плакали...»?

Я бы даже опечатки исправлял лишь с ведома автора. Не говоря о пунктуации. Пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно.

Я думаю, тетка была хорошим редактором. Вернее, хорошим человеком, доброжелательным и умным.

Лично я хороших редакторов не встречал. Хотя среди них было много прекрасных людей.

Хорошего редактора я встретил лишь однажды. Кажется, на Ленфильме. Это была некая Хелли Руммо. Она была эстонка и едва говорила по-русски. Слабое знание языка придавало ее высказываниям особую четкость. Она говорила:

— Сценарий хороший. Значит, его не примут...

В шестидесятые годы я начал что-то писать. Показал сочинения тетке. Тетка обнаружила в моих рассказах сотни ошибок. Стилистических, орфографических и пунктуационных.

Она говорила:

— Здесь написано: «...родство тишины и мороза...» Это неточно. Мороз и тишина — явления различного порядка. Следует писать: «В лесу было морозно и тихо». Без выкрутасов...

— Как это — в лесу? — удивлялся я. — Действие происходит в штрафном изоляторе.

— Ах да, — говорила тетка...

В те годы ей доверили литературное объединение. Из него вышло множество хороших писателей. Например, Гансовский и Пикуль.

Среди других в объединение пришел Иосиф Бродский. Тетка не приняла его. О стихах высказалась так:

— Бред сумасшедшего!

(Кстати, в поэзии Бродского есть и это.)

Бродского не приняли. Зато приняли многих других. В Ленинграде очень много поэтов. Есть три Некрасова — Владимир, Георгий и Борис...

Моя тетка была членом партии. Я ее не виню. Многие достойные и честные люди оказались в рядах коммунистической партии. Они не виноваты. Просто им хотелось жить лучше. Занимать более высокие посты...

Разумеется, тетка переживала, когда мучили Ахматову и Зощенко. А когда травили Пастернака, она даже заболела. Она говорила:

— Это политически неверный ход. Мы теряем свой престиж на Западе. Частично перечеркиваем завоевания двадцатого съезда...

За много лет тетка собрала прекрасную библиотеку. На большинстве ее книг имелись автографы. Зачастую очень трогательные и нежные.

Красочный автограф Валентина Пикуля начинался словами:

«Акушерке наших душ...»

Автограф фантаста Гансовского выглядел следующим образом:

«Через года и пространства великие — руку!...»

Как недавно выяснилось, Гансовский был стукачом. Доносил на своих знакомых.

Пикуль тоже отличился. Говорил на суде Кириллу Владимировичу Успенскому:

— Кирилл! Мы все желаем тебе добра, а ты продолжаешь лгать!..

Успенскому дали пять лет в разгар либерализма.

А Пикулю — квартиру в Риге...

В старости тетка много читала. Книг с автографами не перечитывала. Возле ее кровати лежали томики Ахматовой, Пастернака, Баратынского...

Когда тетка умерла, библиотеку сразу же распродали. Предварительно брат и его жена вырвали листы с автографами. А то неудобно...

Незадолго до этого тетка прочитала мне стихи:

Жизнь пройдена до середины,

А я все думаю, что горы сдвину,
Поля засею, орошу долины,
А жизнь давно уже за половину...

— Стихи одной поэтессы, — улыбнулась тетка.
Я думаю, она сама их написала. Стихи, конечно, неуклюжие. Первая
строчка — буквально цитата из Данте.
И все-таки эти стихи растрогали меня.

Жизнь пройдена до середины,
А я все думаю, что горы сдвину...

Тетка ошиблась.
Жизнь подходила к концу.
Исправить опечатки было невозможно...

Глава шестая

Биография теткиного мужа Арона полностью отражает историю нашего государства. Сначала он был гимназистом. Потом — революционным студентом. Потом — недолгое время — красноармейцем. Потом — как это ни фантастически звучит — белополяком. Потом опять красноармейцем, но уже более сознательным.

Когда гражданская война закончилась, дядя Арон поступил на рабфак. Затем он стал нэпманом и, кажется, временно разбогател. Затем кого-то раскулачивал. Затем он чистил ряды партии. Затем его самого вычистили. За то, что он был нэпманом...

На собрании мой дядя произнес речь. Он сказал:

— Если вы меня исключите, я должен буду рассказать об этом жене. Что вызовет дикий скандал. Короче, решайте сами...

Товарищи подумали и решили:

«Исключить!»

Затем его, правда, восстановили. Мало того, дядя Арон так и не сидел.

Он стал административным работником. Он был директором чего-то. Или заместителем директора по какой-то части...

Сталина мой дядя обожал. Обожал, как непутевого сына. Видя его недостатки.

Пластинки с речами генералиссимуса хранились в красных альбомах. Были такие альбомы со шнурками и рельефным портретом вождя...

Когда Сталин оказался бандитом, мой дядя искренне горевал.

Затем он полюбил Маленкова. Он говорил, что Маленков — инженер.

Когда Маленкова сняли, он полюбил Булганина. Булганин обладал внешностью захолустного дореволюционного полицмейстера. А мой дядя родом был как раз из захолустья, из Новороссийска. Возможно, он честно любил Булганина, напоминавшего ему идолов детства.

Затем он полюбил Хрущева. А когда Хрущева сняли, мой дядя утратил любовь. Ему надоело зря расходовать свои чувства.

Он решил полюбить Ленина. Ленин давно умер, и снять его невозможно. Даже замарать как следует и то нелегко. А значит, невозможно отнять любовь...

При этом мой дядя как-то идейно распустился. Он полюбил Ленина, а также полюбил Солженицына. Сахарова он тоже полюбил. Главным образом за то, что Сахаров изобрел водородную бомбу. Однако не спился, а

борется за правду.

Брежнев мой дядя не любил. Брежнев казался ему временным явлением (что не подтвердилось)...

В последние годы жизни он был чуть ли не диссидентом. Но диссидентом умеренным. Власова не признавал. Солженицына уважал выборочно.

Брежневу мой дядя посылал анонимные записки. Он писал их в сберегательной кассе фиолетовыми чернилами. К тому же левой рукой и печатными буквами. Записки были короткие. Например:

«Куда ведешь Россию, монстр?» и подпись:

«Генерал Свиридов».

Или:

«БАМ — это фикция!»

И подпись:

«Генерал Колюжный».

Иногда он пользовался художественной формой:

«Твои брови жаждут крови!»

И подпись:

«Генерал Нечипоренко»...

Дядя хотел вернуться к истокам ленинизма. А я не хотел. Вот мы и ругались без конца. Уровень полемики был невысок.

— Немецкий шпион, — говорил я о Ленине.

— Святотатец и болван! — реагировал дядя уже в мой адрес.

Мы затрагивали довольно узкий круг тем: суд Линча, падение нравов, вьетнамская эпопея...

Мой дядя ужасно сердился:

— Фашист, — кричал он иногда, — матерый власовец!..

И вдруг мой дядя умер. Вернее, тяжело заболел. И решил, что ему пора умирать. Ему было 76 лет.

— Вызовите Сережу, — попросил он.

Я сразу же приехал. Дядя лежал на высоких подушках, худой и бледный. Он попросил всех уйти из комнаты.

— Сергей, — очень тихо произнес мой дядя, — я умираю...

Я молчал.

— Я не боюсь смерти, — продолжал мой дядя.

Он выждал паузу и заговорил снова:

— Я честно заблуждался... Мучительно переживал свои ошибки... И вот что я понял. Те святыни, под знаком которых я жил, оказались ложными... Я потерпел идейный крах...

Дядя попросил воды. Я поднес чашку к его губам.

— Сергей, — продолжал мой дядя, — я всегда ругал тебя. Я ругал тебя, потому что боялся. Я боялся, что тебя арестуют. Ты очень неводержан... Я критиковал тебя, но внутренне соглашался. Ты должен меня понять. Сорок лет в этой... — (тут дядя грязно выругался), — партии. Шестьдесят лет в этом... — (тут дядя повторил ругательство), — государстве...

— Успокойся, — сказал я.

— ...превратили меня в шлюху, — закончил дядя.

Он сделал усилие и продолжал:

— Ты всегда был прав. Я возражал, потому что боялся за тебя. Прости...

Он заплакал. Мне стало очень жаль его. Но тут пришли медработники и увезли дядю в больницу.

Моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Тетка думала, что его увезут в Свердловскую.

— Ты же старый большевик, — говорила она.

— Нет, — возражал мой дядя, — я не старый большевик.

— То есть как?

— Старый большевик — конкретное понятие. Старый большевик — это кто вступил до тридцать пятого года. А я вступил несколько позже.

Тетка не могла поверить.

— Значит, ты не старый большевик?!

— Нет.

— Все равно, — говорила она, — может, и тебе что-нибудь полагается?

— Возможно, — соглашался дядя, — возможно, и мне что-то полагается. Например, яблоко...

Короче, моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Когда его осматривал лечащий врач, дядя спросил:

— Доктор, вы фронтовик?

— Да, — ответил врач, — я фронтовик.

— И я фронтовик, — сказал мой дядя, — ответьте честно, как фронтовик фронтовику, долго ли я пролежу в больнице?

— При благоприятном ходе событий — месяц, — ответил врач.

— А при неблагоприятном, — усмехнулся дядя, — значительно меньше?..

Он пролежал в больнице недели три. И его привезли домой.

Я сразу же его навестил.

Мой дядя казался печальным и тихим. Словно обрел какую-то высшую мудрость.

Однако когда я упомянул в разговоре Че Гевару, дядя насторожился.

— Авантюрист и гангстер, — сказал я.

— Тунеядец и болван! — реагировал дядя. И дальше с огромным подъемом: — Укажи мне благую идею, лежащую вне коммунизма!..

Тут он неожиданно прервал свою речь. Очевидно, вспомнил наш предсмертный разговор. Виновато покосился на меня.

Я промолчал.

С тех пор мы часто виделись и неизменно ругались. Дядя проклинал рок-музыку, невозвращенца Барышникова и генерала Андрея Власова. Я — бесплатную медицину, «Лебединое озеро» и Феликса Дзержинского.

Потом мой дядя снова заболел.

— Вызовите Сережу, — попросил.

Я сразу же приехал. Дядя выглядел осунувшимся и бледным. На табурете у его изголовья стояли бесчисленные флаконы. Там же интимно розовела вставная челюсть.

— Сергей, — глухо произнес мой дядя.

Я погладил его руку.

— У меня к тебе огромная просьба. Дай слово, что выполнишь ее.

Я кивнул.

— Задуши меня, — попросил дядя.

Я растерянно молчал.

— Мне надоело жить. Я не верю, что коммунизм может быть построен в одной стране. Я скатился в болото троцкизма.

— Не думай об этом, — сказал я.

— Ты готов выполнить мою просьбу?.. Я вижу, ты колеблешься... Конечно, я мог бы принять двадцать таблеток снотворного. Увы, это далеко не всегда приводит к смерти... А если меня разобьет паралич? И я стану для всех еще более тяжелой обузой? Поэтому я вынужден был к тебе обратиться...

— Перестань, — сказал я, — перестань...

— Я отблагодарю тебя, — сказал мой дядя, — я завещаю тебе сочинения Ленина. Отнеси их в макулатуру и поменяй на «Буратино»... Но сначала задуши меня.

— Перестань, — сказал я.

— Кругом злоба и глупость, — сказал мой дядя, — правды нет...

— Успокойся.

— Знаешь, отчего я мучаюсь? — продолжал он. — Когда мы жили в

Новороссийске, там был забор. Высокий коричневый забор. Я каждый день проходил мимо этого забора. А что было внутри, не знаю. Не спросил. Я не думал, что это важно... Как бессмысленно и глупо прожита жизнь! Значит, ты отказываешься?

— Перестань, — сказал я.

Дядя отвернулся и замолчал.

Через две недели он выздоровел. И мы снова ужасно поссорились.

— Болван! — кричал мой дядя. — Ты не хочешь понять! Идея коммунизма, скомпрометированная бездарными адептами, по-прежнему гениальна! Недаром коммунистическую идеологию разделяют миллионы людей!..

— Кто ее разделяет?! — говорил я. — Да ни один здравомыслящий человек!..

— Значит, не разделяют? — багровел дядя. — Не разделяют и молчат? Значит, все кругом лицемеры?!.

— Идеологию вовсе не обязательно разделять, — говорил я, — ее либо принимают, либо не принимают. Это как тюрьма: нравится не нравится — сиди...

— Болван! — кричал мой дядя. — Власовец, фарцовщик!..

У изголовья его висел небольшой портрет Солженицына. Когда приходили гости, дядя его снимал...

Это повторялось снова и снова. Дядя заболел, потом выздоравливал. Мы ссорились. Потом мирились. Шли годы. Он совсем постарел. Не мог ходить. Я был к нему очень привязан...

Как я уже говорил, биография моего дяди отражает историю нашего государства... Нашей любимой и ужасной страны...

Потом мой дядя все же умер. Жаль...

А мне не дает покоя высокий коричневый забор...

Глава седьмая

С раннего детства мое воспитание было политически тенденциозным. Мать, например, глубоко презирала Сталина. Более того, охотно и публично выражала свои чувства. Правда, в несколько оригинальной концепции. Она твердила:

— Грузин порядочным человеком быть не может!

Этому ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла.

Отец мой, напротив, испытывал почтение к вождю. Хотя у отца как раз были веские причины ненавидеть Сталина. Особенно после того, как расстреляли деда.

Может быть, отец и ненавидел тиранию. Но при этом чувствовал уважение к ее масштабам.

В общем, то, что Сталин — убийца, моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей — тоже. В доме только об этом и говорили.

Я одного не понимаю. Почему мои обыкновенные родители все знали, а Эренбург — нет?

В шесть лет я знал, что Сталин убил моего деда. А уж к моменту окончания школы знал решительно все.

Я знал, что в газетах пишут неправду. Что за границей простые люди живут богаче и веселее. Что коммунистом быть стыдно, но выгодно.

Это вовсе не значит, что я был глубокомысленным юношей. Скорее, наоборот. Просто мне это сказали родители. Вернее, мама.

Отец меня почти не воспитывал. Тем более что они с матерью вскоре развелись.

Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками — удручающая хроника коммунального подсознания.

Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.

Жизнелюбивый инженер Гордей Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягоды.

Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.

Техник Харин — бутылки с рюмками.

Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.

Я рисовал пистолеты и сабли...

Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)

Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала...

Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.

По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева.

Мать не высыпалась. А работа у нее была ответственная. (Да еще при жизни Сталина.) За любую опечатку можно было сесть в тюрьму.

Есть в газетном деле одна закономерность. Стоит пропустить единственную букву — и конец. Обязательно выйдет либо непристойность, либо — хуже того — антисоветчина. (А бывает и то и другое вместе.)

Взять, к примеру, заголовок: «Приказ главнокомандующего».

«Главномкомандующий» — такое длинное слово, шестнадцать букв. Надо же пропустить именно букву «л». А так чаще всего и бывает.

Или: «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо — «обсуждают»).

Или: «Большевистская каторга» (вместо — «когорта»).

Как известно, в наших газетах только опечатки правдивы.

Последние двадцать лет за это не расстреливают. Мать работала корректором тридцать лет назад.

Она совсем не высыпалась. Целыми днями мучительно боролась за тишину.

Однажды не выдержала. Повесила отчаянный лозунг на своих дверях: «Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!»

И вдруг наступила тишина. Это было неожиданно и странно. Тихомиров бродил по коридору в носках. Хватал всех за руки и шипел:

— Тихо! У Довлатовой ночует политрук!

Полковник радовался, что мама обрела наконец личное счастье. Да еще с идейно выдержанным товарищем. Кроме того, политрук внушал опасения. Мог оказаться старше Тихомирова по воинскому званию...

Тишина продолжалась неделю. Затем обман был раскрыт.

Родилась мама в Тбилиси. В детстве занималась музыкой. Какая-то русская дама учила ее бесплатно.

Жить было весело. Во-первых — юг. К тому же — четверо детей в

семье.

Сестра Мара была озорницей и умницей. Сестра Анеля — злокой и капризулей. Братик Рома — драчуном и забиякой. Мать казалась наиболее заурядным ребенком...

Шопенгауэр писал, что люди абсолютно не меняются.

Каким же образом тетка Мара превратилась в строгого литературного редактора?

Почему хулиган и задира дядя Рома стал ordinary чиновником?

Почему капризная злока Анеля выросла самой доброй, честной и неприязнительной? Безупречной настолько, что о ней скучно писать?..

А мама — живет в капиталистических джунглях, читает «Эхо» и в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык?..

О ее молодости я знаю совсем немного. В тридцатые годы сестры покинули Грузию. Обосновались в Ленинграде.

Тетка Анеля поступила на факультет иностранных языков.

Тетка Мара работала в издательстве.

Мать подала документы в консерваторию. И параллельно в театральный институт. Сдавала экзамены одновременно. (Тогда это разрешалось.) И ее приняли в оба заведения. Мать говорит — тогда всех принимали. Создавалась новая бесклассовая интеллигенция.

Был выбран театральный институт. Думаю, что зря.

Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избежать, тогда другой вопрос. Тогда просто выхода нет. Значит, не ты ее выбрал, а она тебя...

Мать проработала в театре несколько лет. В немногих рецензиях, которые я читал, ее хвалили.

И коллектив, что называется, ее уважал. Актер Бернацкий, например, говорил:

— Хорошо бы Донату морду набить!.. Да Норку жалко...

Донат — это мой отец. Который реагировал следующим образом:

— С таким лицом, как у Жени Бернацкого, из дома не выходят...

Затем родился я. Отец и мама часто ссорились. Потом разошлись. А я остался.

Было уже не до гастролей. И мама бросила театр.

И правильно. Я наблюдал многих ее знакомых, которые до смерти принадлежали театру. Это был мир уязвленных самолюбий, растоптанных амбиций, бесконечных поношений чужой игры. Это были нищие, мстительные и завистливые люди...

Мама стала корректором. И даже прекрасным корректором. Очевидно,

был у нее талант к этому делу. Ведь грамматики она не знала совершенно. Зато обладала корректорским чутьем. Такое иногда случается.

Я думаю, она была прирожденным корректором. У нее, если можно так выразиться, было этическое чувство правописания. Она, например, говорила про кого-то:

— Знаешь, он из тех, кто пишет «вообще» через дефис...

Что означало крайнюю меру нравственного падения.

О человеке же пустом, легкомысленном, но симпатичном говорилось:

— Так, старушонка через «е»...

Мать с утра до ночи работала. Я очень много ел, я рос. Мать же питалась в основном картошкой. Лет до семнадцати я был абсолютно уверен, что мать предпочитает картошку всему остальному. (Здесь, в Нью-Йорке, окончательно стало ясно, что это не так...)

Квартира была скучная, хоть и многолюдная. События происходили крайне редко.

Однажды к полковнику Тихомирову нагрянул дальний родственник — Сучков. Рослый неуклюжий малый из поселка Дулево.

— Дядя, — сказал он уже на пороге, — окажите материальное содействие в качестве трех рублей. Иначе пойду неверной дорогой...

— Один неверный шаг ты уже сделал, — высказался Тихомиров, — ибо просишь денег. А денег у меня нет. Так что не рассчитывай...

Племянник уселся на коммунальный сундук и заплакал. Так он просидел до обеда.

Наконец мать сказала:

— Заходите. Вы, наверное, проголодались?

— Давно, — подтвердил Сучков.

Он поселился у нас. Без конца ел и гулял по Ленинграду. Вечерами пил чай и смотрел телевизор. Он увидел телевизор впервые.

Полковник Тихомиров держался нейтрально. Только перестал здороваться с мамой.

Наконец мать спросила:

— Володя, каковы твои планы?

Сучков вздохнул:

— Мне бы денег раздобыть на учебники... И на дрова... Учиться хочу, — закончил он с интонацией молодого Ломоносова.

И строго добавил:

— А то, боюсь, пойду неверной дорогой.

Мать заняла для него у соседки пятнадцать рублей. Купила Сучкову билет на поезд.

За сорок минут до отъезда Володя попросил чаю.

Он пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке безграничное количество сахара. Так, словно хотел целиком исчерпать неожиданную благосклонность окружающего мира.

— Смотри, не опоздай, — тревожно говорила мама.

Сучков вытирал лицо газетой, неизменно отвечая:

— Что-то к воде потянуло...

И мать не выдержала:

— Так пойди и утопись! — закричала она.

Чужой родственник нахмурился. Укоризненно посмотрел на мать.

Воцарилась тягостная пауза.

— Какие вы мелочные, Нонна Степановна, — упрекнул будущий Ломоносов, путая разом — имя, отчество, факты...

Он встал. Окинул трагическим взглядом колбасу и сахар, расправил плечи и зашагал неверной дорогой...

Так мы и жили.

И вечно я доставлял матери огорчения.

Сначала я плохо учился. Плохо и разнообразно. То есть иногда я вдруг становился участником какой-нибудь районной химической олимпиады. А потом опять шли сплошные двойки. Даже по литературе.

В 54-м году я стал победителем всесоюзного конкурса юных поэтов. Нас было трое победителей — Леня Дятлов, Саша Макаров и я. Впоследствии Леня Дятлов спился. Макаров переводит с языка коми. А я вообще неизвестно чем занимаюсь. Но тогда мы были победителями. Премии нам вручал Самуил Яковлевич Маршак.

Конкурс миновал. И снова пошли двойки. Причем не за вольномыслие, а за тупость. Я безбожно списывал примитивные классные работы. А «Молодую гвардию» не читал до сих пор. (И теперь уже не прочту...)

Короче, учился я плохо. Дружил со школьным отребьем. Более того, курил и даже немного выпивал.

В университете я тоже занимался плохо. Зато постоянно угрожал матери женитьбой. Причем бог знает на ком...

Потом меня забрали в армию.

Служил я тоже плохо. Я был лишен молодцеватости. Так и прослужил до конца с нечищенной бляхой.

Затем меня демобилизовали.

Я стал работать в многотиражных газетах. То и дело переходил с места на место. Да еще начал писать рассказы.

Рассказы, естественно, не печатали. Я стал больше пить. Маска

непризнанного гения как-то облегчала существование.

И друзья появились соответствующие. Бородатые, загадочные и мрачные. Кроме того, они не мыли рук после уборной. А мать к этому относилась строго. Едва ли не строже, чем к правописанию.

Если друг шел в уборную, мать замирала. По смене тембров льющейся воды устанавливала, моет он руки или нет. Мать ждала и прислушивалась. Сначала было тихо. Затем с мощным грохотом падала вода из бака. И тотчас распаивалась дверь — значит, не мыл...

Мать начинала заискивать и суетиться:

— Наверное, кончилось мыло? Дать вам чистое полотенце?

Мать задавала наводящие вопросы. Настойчиво пыталась вынудить друга к гигиене.

Друг отвечал:

— Не беспокойтесь. Все нормально...

А некоторые лишь с удивлением поднимали брови.

Если друг задерживался, если грохочущий поток сменялся журчанием водопроводного крана, мать расцветала. Она прислушивалась к наступившей затем тишине. Улавливала шорох полотенца.

Она предлагала такому гостю кофе. Беседовала с ним о Рахманинове...

Но это случалось редко. Короче, те еще были друзья...

Их тоже не печатали. Мои друзья реагировали на это болезненно и шумно. Они пили крепленое вино и считали друг друга гениями. Почти все мои друзья были гениями. А иные были гениями сразу в нескольких областях. Например, Саша Кондратов был гением в математике, лингвистике, поэзии, физике и цирковом искусстве. На мизинце его красовался самодельный оловянный перстень в форме черепа...

Мать симпатизировала друзьям, подкармливала их. Выслушивала хвастливые, безумные излияния.

Она изображала толпу. (Какой же гений без толпы, без черни?!.) Она умышленно задавала наивные вопросы. Как бы делала выкрики из переполненного зала.

— Скажите, Паустовский талантливый? — интересовалась она.

— Паустовский? Дерьмо! — академически реагировал собеседник.

— А Катаев?

— Полное дерьмо...

В 76-м году три моих рассказа были опубликованы на Западе. Отныне советские издания были для меня закрыты. (Как, впрочем, и до этого.) Я был одновременно горд и перепуган.

Друзья реагировали сложно. Одни предостерегали:

— Вот увидишь, тебя посадят. Пришьют какую-нибудь уголовщину, и будь здоров!..

Другие высказывались так:

— Напечатали, а что толку? Тиражи на Западе микроскопические. Там не заметят. И тут все дороги закроют...

Третьи как будто осуждали:

— Писатель должен издаваться на родине...

И только мать все повторяла:

— Как я рада, что тебя наконец печатают!..

Затем пошли неприятности. Меня отовсюду выгнали. Лишили самой мелкой халтуры.

Я устроился сторожем на какую-то дурацкую баржу — и оттуда выгнали.

Я стал очень много пить. Жена и дочка уехали на Запад. Мы остались вдвоем. Точнее — втроем. Мама, я и собака Глаша.

Началась форменная травля. Я обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса. Тунеядство, неповиновение властям, «иное холодное оружие».

Все три обвинения были липовые.

Милиция являлась чуть ли не каждый день.

Но я и тут принял защитные меры.

Жили мы на пятом этаже без лифта. В окне напротив постоянно торчал Гена Сахно. Это был спившийся журналист и, как многие алкаши, человек ослепительного благородства. Целыми днями глушил портвейн у окна.

Если к нашему подъезду шла милиция, Гена снимал трубку.

— Бляди идут, — лаконично сообщал он.

И я тотчас запирал двери на щеколду.

Милиция уходила ни с чем. Гена Сахно получал честно заработанный рубль.

Так мы и жили.

Мать все повторяла:

— Я рада, что тебя наконец печатают...

Затем меня неожиданно посадили в Каляевскую тюрьму. Подробности излагать не хочется. Скажу лишь одно — в тюрьме мне не понравилось.

Раньше я говорил старшему брату:

— Ты сидел в лагере... Я служил в лагере... Какая разница? Это одно и то же...

Сейчас я понял. Это вовсе не одно и то же. А подробности излагать не хочется...

Затем меня неожиданно выпустили. И предложили уехать. Я

согласился.

Я даже не спрашивал, готова ли к отъезду мать. Меня изумило, что есть семьи, в которых эта проблема решается долго и трагически.

С Глашей тоже не было хлопот. Пришлось уплатить за нее какие-то деньги. По два шестьдесят за килограмм ее веса. Глашу оценили чуть дороже свинины. И значительно дешевле нототении...

Сейчас мы в Нью-Йорке, и уже не расстанемся. И прежде не расставались. Даже когда я надолго уезжал...

Глава восьмая

Отец мой всегда любил покрасоваться. Вот и стал актером.

Жизнь казалась ему грандиозным театрализованным представлением. Сталин напоминал шекспировских злодеев. Народ безмолвствовал, как в «Годунове».

Это была не комедия и не трагедия, а драма. Добро в конечном счете торжествовало над злом. Низменные порывы уравнивались высокими страстями. Шли в одной упряжке радость и печаль. Центральный герой оказывался на высоте.

Центральным героем был он сам.

Я думаю, у моего отца были способности. Он пел куплеты, не имея музыкального слуха. Танцевал, будучи нескладным еврейским подростком. Мог изобразить храбреца. Это и есть лицедейство...

Владивосток был театральным городом, похожим на Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные моряки. В городских садах звучала африканская музыка. По главной улице — Светланке — фланировали щеголи в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось последнее самоубийство из-за неразделенной любви...

Дед Исаак был театральной личностью. Бывший гвардеец, атлет и кутила, он немного презирал сыновей. Один писал стихи. Вторым играл на сцене. Наиболее дельным и практичным оказался младший, Леопольд. Восемнадцати лет он навсегда бежал из дома.

Отец мой тоже писал стихи. И речь в них шла о тяге к смерти. В чем проявлялся, я думаю, избыток жизненных сил. Стихи увлекали его как элемент театрального представления.

И еще он полюбил теннис. У теннисистов была эффектная спецодежда. Судейство велось на английском языке...

Как многие захолустные юноши, отец и его братья потянулись в столичные города. Михаил уехал в Ленинград совершенствовать поэтическое дарование. Донат последовал за ним. Размашистый Леопольд оказался в Шанхае.

Мой отец поступил в театральный институт. Как представитель новой интеллигенции довольно быстро его закончил. Стал режиссером. Все шло хорошо.

Его приняли в академический театр. Он работал с Вивьеном, Толубеевым, Черкасовым, Адашевским.

Я видел положительные рецензии на его спектакли.

Видел я и отрицательные рецензии на спектакли Мейерхольда. Они были написаны примерно в те же годы.

Затем наступили тревожные времена. Друзья моих родителей стали неожиданно исчезать.

Мать проклинала Сталина. Отец рассуждал по-другому. Ведь исчезали самые заурядные люди. И в каждом помимо достоинств были существенные недостатки. В каждом, если хорошо подумать, было нечто отрицательное. Нечто такое, что давало возможность примириться с утратой.

Когда забрали жившего ниже этажом хормейстера Лялина, отец припомнил, что Лялин был антисемитом. Когда арестовали филолога Рогинского, то выяснилось, что Рогинский — пил. Конферансье Зацепин нетактично обращался с женщинами. Гример Сидельников вообще предпочитал мужчин. А киносценарист Шапиро, будучи евреем, держался с невероятным апломбом.

То есть совершалась драма, порок в которой был наказан.

Затем арестовали деда — просто так. Для отца это было полной неожиданностью. Поскольку дед был явно хорошим человеком.

Разумеется, у деда были слабости, но мало. Притом сугубо личного характера. Он много ел...

Драма перерастала в трагедию. Мой отец растерялся. Он понял, что смерть бродит где-то неподалеку. Что центральный герой находится в опасности. Как в трагедиях Шекспира.

Потом моего отца выгнали из театра. Да и как было не выгнать, следуя его же теории. Еврей, отец расстрелян, младший брат за границей и так далее.

Отец стал писать для эстрады. Он сочинял фельетоны, куплеты, миниатюры, интермедии. Он стал профессиональным репризером и целыми днями выдумывал шутки. А это занятие, как известно, начисто лишает человека оптимизма.

Одну его стихотворную репризу я запомнил навсегда:

Видеть зава довелось,
Наш завмаг силен, как лось,
Только вот уж десять лет
Лососины в маге нет...

Я спросил отца, что все это значит? Как связаны понятия в этом безумном четверостишии?

Отец рассердился и закричал трагическим высоким голосом:

— Ты не улавливаешь сути! Ты просто лишен чувства юмора!..

Он задумался. Уединился минут на сорок. И затем торжественно огласил новый вариант:

Наш завмагом молодец,
Как соленый огурец,
Только вот уж десять лет
Огурцов в сельмаге нет...

— Ну как? — спросил он.

— Огурцы продаются на каждом шагу, — сказала мать.

— Ну и что?

— А то, что это — не жизненно.

— Что не жизненно? Что именно — не жизненно?

— Да это — «огурцов в сельмаге нет...». Ты бы лучше написал про говяжьи сардельки.

Отец схватил себя за волосы и крикнул:

— При чем тут сардельки?! Я вам не домохозяйка! Ваша пошлая жизнь меня совершенно не интересует!.. «Не жизненно!» — повторял отец, запираясь в своем кабинете...

Я знал, что он тайно пишет лирические стихи. Через двадцать лет я их прочел. К сожалению, они мне не понравились.

Его эстрадные репризы были лучше. Например, выходит конференсье и объявляет:

— Сейчас Рубина Калантарян исполнит мексиканскую песенку «Алый цветок». Вот ее содержание. Хуанито подарил мне алый цветок. Я бедняк, сказал Хуанито, и не могу подарить тебе жемчужное ожерелье. Так возьми же хотя бы этот цветок!.. Хуанито, сказала я, ты подарил мне нечто большее, чем жемчужное ожерелье. Ты подарил мне свою любовь!.. И так — Рубина Калантарян! Мексиканская песенка «Алый цветок»! Песня исполняется НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!..

В зале смеялись, я это помню...

У отца была романтическая внешность. В его лице ощущалась какая-то необоснованная, излишняя представительность. Он выглядел моложавым, довольно элегантным. И все-таки казался обитателем

горьковской ночлежки. Он напоминал разом — Пушкина и американского безработного.

Конечно, отец выпивал. Пожалуй, не больше, чем другие. Но как-то заметнее. Короче, его считали пьяницей, и зря. Его артистизм и в трезвом состоянии немного эпатировал публику...

Отец был поставщиком каламбуров и шуток. Мать обладала чувством юмора. (Дистанция — как между булочником и голодающим.) Такие разные люди сосуществовать не могут, это ясно.

Как все легкомысленные мужчины, отец был добродушным человеком. Мать — невоздержанным и резким. Ее исключительная порядочность не допускала компромиссов. Любой ее жест принимал характер самопожертвования. В безжалостном свете ее моральной чистоты недостатки отца катастрофически проявлялись.

Они развелись, когда мне было восемь лет...

Итак, культ личности, война, эвакуация. Затем — развод, халтура, женщины... Ресторан Дворца искусств...

Его постоянно окружали какие-то непрезентабельные личности. Хотя сам он был вполне порядочным человеком. А в денежных отношениях — так просто щепетильным.

Мне импонировала его снисходительность к людям. Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц...

Шли годы. Сын подрос. Вождя разоблачили. Дед был реабилитирован, как говорится — «за отсутствием состава преступления».

Отец воспрянул духом. Ему казалось, что наступает третий, заключительный акт жизненной драмы. И что добро наконец победит. Можно сказать, уже победило...

Он второй раз женился. Его полюбила молодая симпатичная женщина-техник. Возможно, она приняла его за гениального чудака. Такое иногда случается...

Короче, дела поправлялись. Представление набирало утраченный темп. Восстанавливались нарушенные законы классической драмы.

И что же дальше? Ничего особенного. Государством руководили какие-то неясные, лишенные индивидуальности вожди. В искусстве царило мрачноватое, бесцветное единодушие.

Людей как будто не расстреливали. И даже не сажали. Вернее, сажали, но редко. И притом за какие-то реальные действия. Или, как минимум, за неосторожные публичные высказывания. Короче, за дело. Не то что раньше...

Тем не менее при Сталине было лучше. При Сталине издавали книжки, затем расстреливали авторов. Сейчас писателей не расстреливают. Книжек не издают. Еврейских театров не закрывают. Их просто нет...

Наследники Сталина разочаровали моего отца. Им не хватало величия, блеска, театральности. Мой отец готов был примириться с тиранией, но с тиранией — восточной, красочной и диковой.

Он убежден был, что Сталина похоронили зря. Его нельзя было хоронить как обыкновенного смертного. Не следовало писать о его болезни, о кровоизлиянии в мозг. Да еще публиковать какой-то неуместный анализ мочи.

Надо было заявить, что Сталин воспарил. Даже просто написать — исчез. И все бы поверили. И продолжала бы существовать великая легенда. Чем Сталин хуже этого малого из Назарета?!

А так — стоят у Мавзолея недовольные раскормленные дядьки. С виду — разодетые пенсионеры...

Жизнь становилась все более тусклой и однообразной. Даже злодейство носило какой-то будничныи, унылый характер. Добро перерождалось в безучастность. Про хороших людей говорили — этот не стучит...

Я не помню, чтобы мой отец всерьез интересовался жизнью. Его интересовал театр. За нагромождением отцовских слов, поступков, мыслей едва угадывалась чистая, нелепая душа.

Вспоминается его разговор с писателем Минчковским. Минчковский выпил и сказал:

— Донат, представь себе, я был осведомителем.

Отец возмутился:

— Я больше не подам тебе руки!

Минчковский объяснил:

— Я хороших людей не закладывал. Только плохих.

Мой отец на секунду задумался и произнес:

— Кто же тебя, Аркадий, поставил судьей? Что значит — плохие, хорошие? Почему это решал именно ты? Разве ты Христос?!. (Последняя фраза, я уверен, когда-нибудь зачтется моему отцу.)

Минчковский снова пояснил:

— Плохие — это те, которые друзей не угощают... Которые пьют в одиночку...

— Тогда еще ничего, — сказал мой отец.

В те годы он был чуть ли не доцентом музыкального училища, где по его инициативе создали эстрадный класс.

Там он и преподавал. Студентов называл учениками. В манере Пифагора...

Ученики его любили за демократизм.

Но обстановка в этом заведении была довольно гнусная. Один из педагогов написал донос. Там говорилось, что мой отец развращает студентов. Ходит с ними по ресторанам. Ухаживает за молоденькими девушками. И так далее. Донос был анонимный.

Отца пригласили в дирекцию. Показали ему злополучную бумагу. Отец вынул лупу и говорит:

— Позвольте взглянуть?

Ему разрешили.

Он склонился над бумагой. Через минуту раздалось тихое бормотание:

— Так... Нажим в заглавных буквах... Шатен... Промежуток между «бэ» и твердым знаком... Узкие глаза... Незамкнутый овал... Курит одну сигарету за другой... «Эр», переходящее в «е»... Ботинки сорок третьего размера... Хорошо... Короткий росчерк над буквой «дэ»... Усы... Перекладина... Оборванная линия... Шурка Богуславский...

Затем отец поднялся и торжественно воскликнул:

— Это написал Шурик Богуславский!

Анонимщика разоблачили. Предпринятое отцом графологическое исследование дало блестящие результаты. Богуславский сознался.

Было организовано собрание. И мой отец сказал:

— Шура! Александр Германович! Ну как же ты, член партии, мог это совершить?!

Я потом говорил отцу:

— То, что Богуславский — коммунист, вполне логично. Это-то как раз логично и естественно...

Но он продолжал сокрушаться:

— Коммунист... Член партии... Фигура, облеченная доверием...

Было в моем отце какое-то глубокое и упорное непонимание реальной жизни...

События между тем принимали довольно неясный оборот. Я печатался на Западе. Дочка моего отца полюбила юного сиониста Леню. Молодожены собирались уезжать. Я колебался между тюрьмой и Парижем...

Наконец моего отца выгнали с работы.

— Ну и хорошо, — сказал я, — поедem вместе.

— Куда?

— Куда угодно. В капиталистические джунгли.

— И что там делать?

— Ничего. Стареть...

Мой отец почти рассердился. Еще бы — покинуть сцену в третьем акте! За три минуты до аплодисментов!..

Что я мог сказать ему? Что мы — не сцена, а партер? Что наступил антракт? Что он может тянуться до святого пришествия?..

(Да отец мой, видимо, и не знал, что такое — святое пришествие...)

Сначала уехали моя жена и дочка. Затем сестрица с Леней. После них — я, мать и собака...

Через год в Америку приехал мой отец. Поселился в Нью-Джерси. Играет в бинго. Все нормально. Аплодисментов ждать пока что неоткуда...

И только одно меня беспокоит... Не беспокоит, а удивляет, что ли... В общем, моя жена при каждом удобном случае... Если какое-то происшествие или литературное сборище... Короче, что бы я ни сделал, моя жена всегда повторяет:

— Боже, до чего ты похож на своего отца!..

Глава девятая

Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло. Иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером.

К этому имелось множество самых разнообразных предпосылок. Однако не будем забегать вперед...

Тетка моя была известным литературным редактором. Муж ее — Арон — заведовал военным госпиталем. Помимо этого он читал лекции и коллекционировал марки. Это была дружная, хорошая семья...

Мой старший брат родился при довольно загадочных обстоятельствах. До замужества у тетки был роман. Она полюбила заместителя Сергея Мироновича Кирова. Звали его — Александр Угаров. Старики ленинградцы помнят этого видного обкомовского деятеля.

У него была семья. А тетку он любил помимо брака.

И тетка оказалась в положении.

Наконец пришло время рожать. Ее увезли в больницу.

Мать поехала в Смольный. Добилась приема. Напомнила заместителю Кирова о сестре и ее проблемах.

Угаров хмуро сделал несколько распоряжений. Обкомовская челядь строем понесла в родильный дом цветы и фрукты. А в теткино жилище был доставлен миниатюрный инкрустированный ломберный столик. Видимо, реквизированный у классово чуждых элементов.

Тетка родила здорового симпатичного мальчика Борю. Мать решила снова поехать в обком. Добиться приема ей не удалось. И не потому, что Угаров зазнался. Скорее наоборот. За эти дни счастливого папашу арестовали как врага народа.

Шел тридцать восьмой год... Тетка осталась с младенцем.

Хорошо, что Угаров не был ее мужем. Иначе бы тетку сослали. А так — сослали его жену и детей. Что, конечно, тоже неприятно.

Видимо, тетка сознавала, на что идет. Она была красивой, энергичной и независимой женщиной. Если она и боялась чего-нибудь, то лишь партийной критики...

К тому же появился Арон. Видимо, он любил мою тетку. Он предложил ей руку и сердце.

Арон был сыном владельца шляпной мастерской. При этом он не выглядел типичным евреем — близоруким, хилым, задумчивым. Это был

высокий, сильный, мужественный человек. Бывший революционный студент, красноармеец и нэпман. Впоследствии — административный работник. И, наконец, в преклонные годы — ревизионист и диссидент...

Арон боготворил мою тетку. Ребенок называл его — папа...

Началась война. Мы оказались в Новосибирске. Боре исполнилось три года. Он ходил в детский сад. Я был грудным младенцем.

Боря приносил мне куски рафинада. Он нес их за щекой. А дома вынимал и клал на блюдце.

Я капризничал, сахар есть не хотел. Боря с тревогой говорил нашим родителям:

— Ведь сахар тает...

Потом война кончилась. И мы уже больше не голодали...

Мой брат рос красивым подростком западноевропейского типа. У него были светлые глаза и темные курчавые волосы. Он напоминал юных героев прогрессивного итальянского кино. Так считали все наши родственники...

Это был показательный советский мальчик. Пионер, отличник, футболист и собиратель металлического лома. Он вел дневник, куда записывал мудрые изречения. Посадил в своем дворе березу. В драматическом кружке ему поручали роли молодогвардейцев...

Я был младше, но хуже. И его неизменно ставили мне в пример.

Он был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили — Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом... Боря стал победителем районной олимпиады... Боря вылечил раненого птенца... Боря собрал детекторный приемник. (Я до сих пор не знаю, что это такое...)

И вдруг произошло нечто фантастическое... Не поддающееся описанию... У меня буквально не хватает слов...

Короче, мой брат помочился на директора школы.

Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники.

Кто-то сказал, глядя в окно:

— Легавый пошел...

(Легавым звали директора школы — Чеботарева.)

Далее — мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию. И окатил Чеботарева с ног до головы...

Это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена.

Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он

совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приклатненной лагерной скороговоркой:

— Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!..

В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантиль, туго набитый портфель...

Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы. Лишив себя таким образом золотой медали. Родители с трудом уговорили директора выдать Боре аттестат зрелости...

Я тогда спросил у брата:

— Зачем ты это сделал?

Брат ответил:

— Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев Легавого, я понял — сейчас или никогда! Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать...

Уже тогда я был довольно злым подростком. Я сказал моему брату:

— На фасаде вашей школы через сто лет повесят мемориальную доску: «Здесь учился Борис Довлатов... с вытекающими отсюда неожиданными последствиями...»

Дикий поступок моего брата обсуждался несколько месяцев. Затем Борис поступил в театральный институт. Он решил стать искусствоведам. О его преступлении начали забывать. Тем более что занимался он великолепно. Был секретарем комсомольской организации. А также — донором, редактором стенной газеты и вратарем...

Возмужав, он стал еще красивее. Он был похож на итальянского киноактера. Девуцы преследовали его с нескрываемым энтузиазмом.

При этом он был целомудренным и застенчивым юношей. Ему претило женское кокетство. Я помню записи в его студенческом дневнике:

«Главное в книге и в женщине — не форма, а содержание...»

Даже теперь, после бесчисленных жизненных разочарований, эта установка кажется мне скучноватой. И мне по-прежнему нравятся только красивые женщины.

Более того, я наделен предрассудками. Мне кажется, например, что все толстые женщины — лгуны. В особенности, если полнота сопровождается малым бюстом...

Впрочем, речь идет не обо мне...

Мой брат окончил театральный институт. Получил диплом с отличием. За ним тянулось безупречное комсомольское досье.

Он был целинником и командиром стройотрядов. Активистом дружины содействия милиции. Грозой мещанских настроений и пережитков капитализма в сознании людей.

У него были самые честные глаза в микрорайоне...

Он стал завлитом. Поступил на работу в Театр имени Ленинского комсомола. Это было почти невероятно. Мальчишка, недавний студент, и вдруг такая должность!..

На посту заведующего литературной частью он был требователен и деловит. Он ратовал за прогрессивное искусство. Причем тактично, сдержанно и осторожно. Умело протаскивая Вампилова, Борщаговского, Мрожека...

Его побаивались заслуженные советские драматурги. Им восхищалась бунтующая театральная молодежь.

Его посылали в ответственные командировки. Он был участником нескольких кремлевских совещаний. Ему деликатно рекомендовали стать членом партии. Он колебался. Ему казалось, что он — недостойн...

И вдруг мой братец снова отличился. Я даже не знаю, как лучше выразиться... Короче, Боря совершил двенадцать ограблений.

У него был дружок в институте по фамилии Цапин. И вот они с Цапиным грабанили двенадцать заграничных туристских автобусов. Унесли чемоданы, радиоприемники, магнитофоны, зонтики, плащи и шляпы. И между прочим, запасное колесо.

Через сутки их арестовали. Мы были в шоке. Тетка побежала к своему другу Юрию Герману. Тот позвонил друзьям — генералам милиции.

На суде моего брата защищал лучший адвокат города — Киселев.

В ходе суда обнаружились некоторые подробности и детали. Выяснилось, что жертвы ограбления были представителями развивающихся стран. А также — членами прогрессивных социалистических организаций.

Киселев решил этим воспользоваться. Он задал моему брату вопрос:

— Подсудимый Довлатов, вы знали, что эти люди являются гражданами развивающихся стран? А также — представителями социалистических организаций?

— К сожалению, нет, — разумно ответил Борис.

— Ну а если бы вы это знали?.. Решились бы вы посягнуть на их личную собственность?

Лицо моего брата выразило крайнюю степень обиды. Вопрос адвоката показался ему совершенно бестактным. Он досадливо приподнял брови. Что означало: «И вы еще спрашиваете? Да как вы могли подумать?!..»

Киселев заметно оживился.

— Так, — сказал он, — и наконец, последний вопрос. Не думали ли вы, что эти господа являются представителями реакционных слоев общества?..

В этот момент его перебил судья:

— Товарищ Киселев, не делайте из подсудимого борца за мировую революцию!..

Но брат успел кивнуть. Дескать, мелькнуло такое предположение...

Судья повысил голос:

— Давайте придерживаться фактов, которыми располагает следствие...

Моему брату дали три года.

На суде он держался мужественно и просто. Улыбался и поддразнивал судью.

Когда оглашали приговор, брат не дрогнул. Его увели под конвоем из зала суда.

Затем была кассация... Какие-то хлопоты, переговоры и звонки. И все напрасно.

Мой брат оказался в Тюмени. В лагере усиленного режима. Мы с ним переписывались. Все его письма начинались словами: «У меня все нормально...»

Далее шли многочисленные, но сдержанные и трезвые просьбы: «Две пары шерстяных носков... Самоучитель английского языка... Рейтузы... Общие тетради... Самоучитель немецкого языка... Чеснок... Лимоны... Авторучки... Самоучитель французского языка... А также — самоучитель игры на гитаре...»

Сведения из лагеря поступали вполне оптимистические. Старший воспитатель Букин писал моей тетке:

«Борис Довлатов неуклонно следует всем предписаниям лагерного режима... Пользуется авторитетом среди заключенных... Систематически перевыполняет трудовые задания... Принимает активное участие в работе художественной самодеятельности...»

Брат писал, что его назначили дневальным. Затем — бригадиром. Затем — председателем совета бригадиров. И наконец — заведующим баней.

Это была головокружительная карьера. И сделать ее в лагере чрезвычайно трудно. Такие же усилия на воле приводят к синекурам бюрократического руководства. К распределителям, дачам и заграничным поездкам...

Мой брат стремительно шел к исправлению. Он был лагерным маяком. Ему завидовали, им восхищались.

Через год его перевели на химию. То есть на вольное поселение. С обязательным трудоустройством на местном химическом комбинате.

Там он и женился. К нему приехала самоотверженная однокурсница Лиза. Она поступила, как жена декабриста. Они стали мужем и женой...

А меня пока что выгнали из университета. Затем — призвали в армию. И я попал в охрану. Превратился в лагерного надзирателя.

Так что я был охранником. А Боря — заключенным.

Вышло так, что я даже охранял своего брата. Правда, очень недолго. Рассказывать об этом мне не хочется. Иначе все будет слишком уж литературно. Как в «Донских рассказах» Шолохова.

Достаточно того, что я был охранником. А мой брат — заключенным...

Вернулись мы почти одновременно. Брата освободили, а я демобилизовался.

Родственники устроили грандиозный банкет в «Метрополе». Чествовали, главным образом, моего брата. Но и меня помянули добрым словом.

Дядя Роман высказался следующим образом:

— Есть люди, которые напоминают пресмыкающихся. Они живут в болотах... И есть люди, которые напоминают горных орлов. Они парят выше солнца, широко расправив крылья... Выпьем же за Боря, нашего горного орла!.. Выпьем, чтобы тучи остались позади!..

— Браво! — закричали родственники. — Молодец, орел, джигит!..

Я уловил в дядиной речи мотивы горьковской «Песни о Соколе»...

Роман слегка понизил голос и добавил:

— Выпьем и за Сережу, нашего орленка! Правда, он еще молод, крылья его не окрепли. Но и его ждут широкие просторы!..

— Боже упаси! — довольно громко сказала мама.

Дядя укоризненно поглядел в ее сторону...

Снова тетка звонила разным людям. И моего брата приняли на Ленфильм. Назначили кем-то вроде осветителя.

А я поступил в многотиражку. И к тому же начал писать рассказы...

Карьера моего брата развивалась в нарастающем темпе. Вскоре он стал лаборантом. Потом — диспетчером. Потом — старшим диспетчером. И наконец — заместителем директора картины. То есть лицом материально ответственным.

Недаром в лагере мой брат так стремительно шел к исправлению.

Теперь он, видимо, не мог остановиться...

Через месяц его фотография висела на Доске почета. Его полюбили режиссеры, операторы и сам директор Ленфильма — Звонарев. Более того, его полюбили уборщицы...

Ему обещали в недалеком будущем самостоятельную картину.

Шестнадцать старых коммунистов Ленфильма готовы были дать ему рекомендацию в партию. Но брат колебался.

Он напоминал Левина из «Анны Карениной». Левина накануне брака смущала утраченная в молодые годы девственность. Брата мучила аналогичная проблема. А именно, можно ли быть коммунистом с уголовным прошлым?

Старые коммунисты уверяли его, что можно...

Брат резко выделялся на моем унылом фоне. Он был веселым, динамичным и немногословным. Его посылали в ответственные командировки. Все прочили ему блестящую административную карьеру. Невозможно было поверить, что он сидел в тюрьме. Многие из числа не очень близких знакомых думали, что в тюрьме сидел я...

И снова что-то произошло. Хотя не сразу, а постепенно. Начались какие-то странные перебои. Как будто торжественное звучание «Аппассионаты» нарушилось режущими воплями саксофона.

Мой брат по-прежнему делал карьеру. Произносил на собраниях речи. Ездил в командировки. Но параллельно стал выпивать. И ухаживать за женщинами. Причем с неожиданным энтузиазмом.

Его стали замечать в подозрительных компаниях. Его окружали пьяницы, фарцовщики, какие-то неясные ветераны Халхин-Гола.

Протрезвев, он бежал на собрание. Успешно выступив на собрании, торопился к друзьям.

Сначала эти маршруты не пересекались. Брат делал карьеру и одновременно — губил ее.

Он по трое суток не являлся домой. Исчезал с какими-то непотребными женщинами.

Среди этих женщин преобладали весьма некрасивые. Одну из них, я помню, звали Грета. У нее был зоб.

Я сказал моему брату:

— Ты мог бы найти и получше.

— Дикарь, — возмутился мой брат, — а знаешь ли ты, что она получает спирт на работе! Причем в неограниченном количестве...

Очевидно, мой брат все еще руководствовался юношеской доктриной: «В женщине и в книге главное не форма, а содержание!»

Потом Борис избил официанта в ресторане «Нарва». Брат требовал, чтобы официант исполнил «Сулико»...

Он стал попадать в милицию. Каждый раз его вызволяло оттуда партийное бюро Ленфильма. Но с каждым разом все менее охотно.

Мы ждали, чем все это кончится...

Летом он поехал на съемки «Даурии» в Читу. И вдруг мы узнали, что брат на казенной машине задавил человека. Да еще офицера советской армии. Насмерть...

Это было страшное время предположений и догадок. Информация поступала самая разноречивая. Говорили, что Боря вел машину совершенно пьяный. Говорили, правда, что и офицер был в нетрезвом состоянии. Хотя это не имело значения, поскольку он был мертв...

От тетки все это скрывалось. Дядя собрали около четырехсот рублей. Я должен был лететь в Читу — узнать подробности и совершить какие-то разумные акции. Договориться о передачах, нанять адвоката...

— И если можно, подкупить следователя, — напоминал дядя Роман...

Я начал собираться.

Поздно ночью раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. Из тишины выплыл спокойный голос моего брата:

— Ты спал?

— Боря! — закричал я. — Ты жив?! Тебя не расстреляют?! Ты был пьян?!.

— Я жив, — ответил брат, — меня не расстреляют... И запомни — это был несчастный случай. Я вел машину трезвый. Мне дадут года четыре, не больше. Ты получил сигареты?

— Какие сигареты?

— Японские. Видишь ли, Чита имеет сепаратный торговый договор с Японией. И тут продаются отличные сигареты «Хи лайт». Я послал тебе блок на день рождения. Ты получил их?

— Нет. Это неважно...

— То есть как это неважно? Это — классные сигареты, изготовленные по американской лицензии.

Но я прервал его:

— Ты под стражей?

— Нет, — сказал он, — зачем? Я живу в гостинице. Ко мне приходит следователь. Ее зовут Лариса. Полная такая... Кстати, она шлет тебе привет...

В трубке зазвучал посторонний женский голос:

— Ку-ку, моя цыпа!

Потом опять заговорил мой брат:

— В Читу тебе лететь совершенно незачем. Суд, я думаю, будет в Ленинграде... Мама знает?

— Нет, — сказал я.

— Хорошо...

— Боря! — орал я. — Что тебе прислать? Ты, наверное, в жутком состоянии?! Ты ведь убил человека! Убил человека!..

— Не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать... И еще раз повторяю — это был несчастный случай... А главное — куда девались сигареты?..

Вскоре из Читы приехали двое непосредственных участников событий. Таким образом стали известны подробности дела. Вот что, оказывается, произошло.

Был чей-то день рождения. Отмечали его на лоне природы. Боря приехал уже вечером, на казенной автомашине. Как всегда, не хватало спиртного. Гости слегка приуныли. Магазины были закрыты.

Боря объявил:

— Еду за самогоном. Кто со мной?

Он был навеселе. Его пытались отговорить. В результате с ним поехали трое. В том числе — шофер автомобиля, который дремал на заднем сиденье.

Через полчаса они сшибли мотоциклиста. Тот умер, не приходя в сознание.

Участники поездки были в истерике. А брат мой, наоборот, протрезвел. Он действовал решительно и четко. А именно, все-таки поехал за самогоном. Это заняло пятнадцать минут. Затем он щедро наделил самогоном всех участников поездки. В том числе и слегка протрезвевшего шофера. Тот снова задремал.

Лишь тогда брат позвонил в милицию. Вскоре подъехала оперативная машина. Был обнаружен труп, разбитый мотоцикл и четверо пьяных людей. Причем мой брат оказался самым трезвым.

Лейтенант Дудко спросил:

— Кто из вас шофер?

Брат указал на спящего шофера. Того положили в оперативную машину. Остальных развезли по домам, записав адреса.

Брат скрывался трое суток. Пока не выветрился алкоголь. Затем он явился в милицию с повинной.

Шофер к этому времени, естественно, протрезвел. Его содержали в камере предварительного заключения. Он был уверен, что спяну задавил человека.

Тут явился брат и сказал, что машину вел он.

— Зачем же вы указали на Крахмальникова Юрия Петровича? — рассердился лейтенант.

— Вы спросили, кто шофер, я и ответил...

— Где же вы пропадали трое суток?

— Я испугался... Я был в шоке...

Фальшивая гримаса на лице моего брата выражала хрупкость психики.

— Такого испугаешь! — не поверил лейтенант.

Затем спросил:

— Вы были пьяны?

— Нисколько, — ответил мой брат.

— Сомневаюсь...

Однако что-либо доказать уже было невозможно. Участники рейса клялись, что Боря не пил. Шофер отделался выговором по служебной линии.

Брат поступил умно. Теперь его должны были судить уже не как пьяного за рулем. А как виновника несчастного случая.

Следователь Лариса говорила ему:

— Даже в кровати ты продолжаешь обманывать следствие...

Через неделю он появился в Ленинграде.

Тетка уже все знала. Она не плакала. Она звонила писателям, которые имели дело с милицией. Все тем же — Юрию Герману, Меттеру, Сапарову.

В результате моего брата не трогали. Оставили в покое до суда. Только взяли подписку о невыезде.

Брат заехал ко мне в один из первых дней. Он спросил:

— Ты ведь служил под Ленинградом? Знаешь местную систему лагерей?

— В общем, да. Я был в Обухове, Горелове, на Пискаревке...

— Куда бы мне, по-твоему, лучше сесть?

— В Обухове, я думаю, режим помягче.

— Короче, надо поехать и ознакомиться...

Мы поехали в Обухово. Зашли в казарму. Поговорили с дневальным. Узнали, кто есть из знакомых сверхсрочников. Через минуту в казарму прибежали сержанты Годеридзе и Осипенко.

Мы обнялись. Я познакомил их с моим братом. Потом выяснил, кто остался из старой лагерной администрации.

— Капитан Дерябин, — ответили сверхсрочники.

Капитана Дерябина я хорошо помнил. Это был сравнительно добродушный, нелепый алкаш. Заключенные таскали у него сигареты.

Когда я служил, Дерябин был лейтенантом.

Мы позвонили в зону. Через минуту Дерябин появился на вахте.

— А! — закричал он. — Серега приехавши! Дай-ка взглянуть, на кого ты похож. Я слышал, ты писателем заделался? Вот опиши случай из жизни. У меня с отдельной точки зек катапультировался. Вывел я бригаду сантехников на отдельную точку. Поставил конвоира. Отлучился за маленькой. Возвращаюсь — нет одного зека. Улетел... Нагнули, понимаешь, сосну. Пристегнули зека к верхушке монтажным ремнем — и отпустили. А зек в полете расстегнулся — и с концами. Улетел чуть не за переезд. Однако малость не рассчитал. Надеялся в снег приземлиться у лесобиржи. А получилось, что угодил во двор райвоенкомата... И еще — такая чисто литературная деталь. Когда его брали, он военкома за нос укусил...

Я познакомил Дерябина с моим братом.

— Леха, — сказал капитан, протягивая руку.

— Боб.

— Так что, — говорю, — неплохо бы это самое?..

Мы решили уйти из казармы в ближайший лесок. Пригласили Годеридзе и Осипенко. Вынули из портфеля четыре бутылки «Зверобоя». Сели на поваленную ель.

— Ну, за все хорошее! — сказали тюремщики.

Через пять минут брат обнимался с Дерябиным. И между делом задавал ему вопросы:

— Как с отоплением? Много ли караульных собак на блокпостах? Соблюдается ли камерный принцип охраны?

— Не пропадешь, — заверяли его сверхсрочники.

— Хорошая зона, — твердил Годеридзе, — поправишься, отдохнешь, богатырем станешь...

— И магазин совсем близко, — вставлял Осипенко, — за переездом... Белое, красное, пиво...

Через полчаса Дерябин говорил:

— Садитесь, ребята, пока я жив. А то уволят Леху Дерябина, и будет вам хана... Придут разные деятели с незаконченным высшим образованием... Вспомните тогда Леху Дерябина...

Боря записал его домашний телефон.

— И я твой запишу, — сказал Дерябин.

— Не имеет смысла, — ответил брат, — я через месяц приеду...

В электричке на пути домой он говорил:

— Пока что все не так уж худо.

А я чуть не плакал. Видно, на меня подействовал «Зверобой»...

Вскоре начался суд. Брата защищал все тот же адвокат Киселев. Присутствующие то и дело начинали ему аплодировать.

Любопытно, что жертвой событий он изобразил моего брата, а вовсе не покойного Коробченко.

В заключение он сказал:

— Человеческая жизнь напоминает горную дорогу со множеством опасных поворотов. Один из них стал роковым для моего подзащитного.

Брату опять дали три года. Теперь уже — строгого режима.

В день суда я получил бандероль из Читы. В ней оказалось десять пачек японских сигарет «Хи лайт»...

Борю поместили в Обухове. Он написал мне, что лагерь хороший, а вохра — довольно гуманная.

Капитан Дерябин оказался человеком слова. Он назначил Борю хлебозером. Это была завидная номенклатурная должность.

За это время жена моего брата успела родить дочку Наташу. Как-то раз она позвонила мне и говорит:

— Нам предоставляют общее свидание. Если ты свободен, поедem вместе. Мне одной с грудным ребенком будет трудно.

Мы поехали вчетвером — тетка, Лиза, двухмесячная Наташа и я.

Был жаркий августовский день. Наташа всю дорогу плакала. Лиза нервничала. У тетки разболелась голова...

Мы подъехали к вахте. Затем оказались в комнате свиданий. Кроме нас там было шестеро посетителей. Заключенных отделял стеклянный барьер.

Лиза распеленала дочку. Брат все не появлялся. Я подошел к дежурному сверхсрочнику:

— А где Довлатов? — спрашиваю.

Тот грубовато ответил:

— Ждите.

Я говорю:

— Позвони дневальному и вызови моего брата. И скажи Лехе Дерябину, что я велел тебя погонять!

Дежурный несколько сбавил тон:

— Я Дерябину не подчиняюсь. Я оперу подчиняюсь...

— Давай, — говорю, — звони...

Тут появился мой брат. Он был в серой лагерной робе. Стриженные под машинку волосы немного отросли. Он загорел и как будто вытянулся.

Тетка протянула ему в амбразуру яблоки, колбасу и шоколад.

Лиза говорила дочке:

— Татуся, это папа. Видишь — это папа...

А брат все смотрел на меня. Потом сказал:

— На тебе отвратительные брюки. И цвет какой-то говнистый. Хочешь, я тебе сосватаю одного еврея? Тут в зоне один еврей шьет потрясающие брюки. Кстати, его фамилия — Портнов. Бывают же такие совпадения...

Я закричал:

— О чем ты говоришь?! Какое это имеет значение?!

— Не думай, — продолжал он, — это бесплатно. Я выдам деньги, ты купишь материал, а он сошьет брюки... Еврей говорит: «Задница — лицо человека!» А теперь посмотри на свою... Какие-то складки...

Мне показалось, что для рецидивиста он ведет себя слишком требовательно...

— Деньги? — насторожилась тетка. — Откуда? Я знаю, что в лагере деньги иметь не положено.

— Деньги как микробы, — сказал Борис, — они есть везде. Построим коммунизм — тогда все будет иначе.

— Погляди же на дочку, — взмолилась Лиза.

— Я видел, — сказал брат, — чудная девка...

— Как, — говорю, — у вас с питанием?

— Неважно. Правда, я в столовой не бываю. Посылаем в гастроном кого-нибудь из сверхсрочников... Бывает — и купить-то нечего. После часу колбасы и яиц уже не достанешь... Да, загубил Никита сельское хозяйство... А было время — Европу кормили... Одна надежда — частный сектор... Реставрация нэпа...

— Потихе, — сказала тетка.

Брат позвал дежурного сверхсрочника. Что-то сказал ему вполголоса. Тот начал оправдываться. К нам долетали лишь обрывки фраз.

— Ведь я же просил, — говорил мой брат.

— Я помню, — отвечал сверхсрочник, — не волнуйся. Толик вернется через десять минут.

— Но я же просил к двенадцати тридцати.

— Возможности не было.

— Дима, я обижусь.

— Боря, ты меня знаешь. Я такой человек: обещал — сделаю... Толик вернется буквально через пять минут...

— Но мы хотим выпить сейчас!

Я спросил:

— В чем дело? Что такое?

Брат ответил:

— Послал тут одного деятеля за водкой, и с концами... Какой-то бардак, а не воинское подразделение.

— Тебя посадят в карцер, — сказала Лиза.

— А в карцере что, не люди?!

Ребенок снова начал плакать. Лиза обиделась. Брат показался ей невнимательным и равнодушным. Тетка принимала одно лекарство за другим.

Время свидания истекало. Одного из зеков уводили почти насильно. Он вырывался и кричал:

— Надька, сблядуешь — убью! Разыщу и покалечу, как мартышку... Это я гарантирую... И помни, сука, Вовик тебя любит!..

— Пора идти, — сказал я, — время.

Тетка отвернулась. Лиза укачивала маленькую.

— А водка? — сказал мой брат.

— Выпейте, — говорю, — сами.

— Я хотел с тобой.

— Не стоит, брат, какое тут питье?..

— Как знаешь... А этого сверхсрочника я все равно приморю. Для меня главное в человеке — ответственность...

Вдруг появился Толик с бутылкой. Было заметно, что он спешил.

— Вот, — говорит, — рупь тридцать сдачи.

— Так, чтобы я не видел, ребята, — сказал дежурный, протягивая Боре эмалированную кружку.

Брат ее живо наполнил. И каждый сделал по глотку. В том числе — зеки, их родные, надзиратели и сверхсрочники. И сам дежурный...

Один небритый татуированный зек, поднимая кружку, сказал:

— За нашу великую родину! За лично товарища Сталина! За победу над фашистской Германией! Из всех наземных орудий — бабах!..

— Да здравствует махрово-реакционная клика Имре Надя! — поддержал его второй...

Дежурный тронул брата за плечо:

— Боб, извини, тебе пора...

Мы попрощались. Я пожал брату руку через амбразуру. Тетка молча глядела на сына. Лиза вдруг заплакала, разбудив уснувшую было Наташу. Та подняла крик.

Мы вышли и стали ловить такси...

Прошло около года. Брат писал, что все идет хорошо. Он работал хлебоборозом, а когда Дерябин ушел на пенсию, стал электромонтером.

Затем моего брата разыскал представитель УВД. Было решено создать документальный фильм о лагерях. О том, что советские лагеря — наиболее гуманные в мире. Фильм предназначался для внутреннего использования. Назывался он сухо вато: «Методы охраны исправительно-трудовых колоний строгого режима».

Брат разъезжал по отдаленным лагерным точкам. Ему предоставили казенную машину «ГАЗ-61». Выдали соответствующую аппаратуру. Его неизменно сопровождали двое конвоиров — Годеридзе и Осипенко.

Брату удавалось часто заезжать домой. Несколько раз он побывал у меня.

К лету фильм был готов. Брат выполнял одновременно функции — кинооператора, режиссера и диктора.

В июне состоялся просмотр. В зале сидели генералы и полковники. На обсуждении фильма генерал Шурепов сказал:

— Хорошая, нужная картина... Смотрится, как «Тысяча и одна ночь»...

Боря похвалили. К сентябрю его должны были освободить.

Наконец-то я уловил самую главную черту в характере моего брата. Он был неосознанным стихийным экзистенциалистом. Он мог действовать только в пограничных ситуациях. Карьеру делать — лишь в тюрьме. За жизнь бороться — только на краю пропасти...

Наконец, его освободили.

Дальше я вынужден повторяться. Тетка позвонила Юрию Герману. Брата взяли чернорабочим на студию документальных фильмов. Через два месяца он работал звукооператором. А через полгода — начальником отдела снабжения.

Примерно в эти же дни меня окончательно уволили с работы. Я сочинял рассказы и жил на мамину пенсию...

Когда тетка заболела и умерла, в ее бумагах нашли портрет сероглазого обаятельного мужчины. Это был заместитель Кирова — Александр Иванович Угаров. Он напоминал моего брата. Хотя и выглядел значительно моложе.

Боря и раньше знал, кто его отец. Сейчас на эту тему заговорили открыто.

Брат мог попытаться отыскать своих родственников. Однако не захотел. Он сказал:

— У меня есть ты, и больше никого...

Потом задумался и добавил:

— Как странно! Я — наполовину русский. Ты — наполовину еврей.

Но оба любим водку с пивом...

В семьдесят девятом году я решил эмигрировать. Брат сказал, что не поедет.

Он снова начал пить и драться в ресторанах. Ему грозило увольнение с работы.

Я думаю, он мог жить только в неволе. На свободе он распускался и даже заболел.

Я сказал ему в последний раз:

— Уедем.

Он реагировал вяло и грустно:

— Все это не для меня. Ведь надо ходить по инстанциям. Надо всех уверять, что ты еврей... Мне неудобно... Вот если бы с похмелья — раз, и ты на Капитолийском холме...

В аэропорту мой брат заплакал. Видно, он постарел. Кроме того, уезжать всегда гораздо легче, чем оставаться...

Четвертый год я живу в Нью-Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ленинград. И вдруг приходит бандероль — оттуда.

Я вскрыл ее на почте. В ней лежала голубая трикотажная фуфайка с эмблемой олимпийских игр. И еще — тяжелый металлический штопор усовершенствованной конструкции.

Я задумался — что было у меня в жизни самого дорогого? И понял: четыре куса рафинада, японские сигареты «Хи лайт», голубая фуфайка да еще вот этот штопор...

Глава десятая

С каждым годом она все больше похожа на человека. (А ведь не о любом из друзей это скажешь.) Когда она рядом, я уже стесняюсь переодеваться.

Мой приятель Севостьянов говорит:

— Она у вас единственный нормальный член семьи...

Принес я ее домой на ладони. Было это двенадцать лет назад. Месячный щенок-фокстерьер по имени Глаша. Расцветкой напоминает березовую чурочку. Нос — крошечная боксерская перчатка...

Короче, Глаша была неотразима.

Примерно до года она казалась нормальной рядовой собакой. Грызла нашу обувь. Клянчила подачки.

Воспитывали мы ее довольно невнимательно. Кормили чем придется. Гуляли с ней утром и вечером минут по десять.

Никаких «Дай лапу», никаких «Тубо» и «Фас!».

Зато мы подолгу с ней беседовали. И я, и мама, и жена. А потом и дочка, когда сама научилась разговаривать...

Глаше шел тринадцатый месяц, когда появился некий Бобров.

Мы учились вместе на филфаке. Потом меня выгнали, а Леша благополучно закончил университет.

Был он вполне здоровым и даже нахальным юношей. Ухаживал за барышнями, скандалил, выпивал.

Потом женился. Жену называл английским словом — Фили (кобыла).

Год проработал в «Интуристе».

Тут им овладел крайний пессимизм. Бобров нанялся егерем в Подпорожский район. Стал жить в лесу, как Генри Торо. Охотился, мариновал грибы, построил и напряженно эксплуатировал самогонный аппарат.

Изредка он появлялся в Ленинграде. Однажды вдруг зашел ко мне. Увидел мою собаку и говорит:

— Это же норная собака. А ты ее в болонку превратил... Давай забери ее в охотничье хозяйство. А месяца через два привезу обратно.

Мы подумали — отчего бы и нет? Должны же у собаки развиваться природные инстинкты...

Прошло два месяца, три, четыре... Бобров не появлялся. Я написал ему в охотничье хозяйство. Ответа не последовало.

Мама все повторяла:
— Без Глаши скучно.
Дочка несколько раз плакала.
Наконец жена мне говорит:
— Поезжай и заberi собаку.
Наш друг Валерий Грубин поехал со мной.
К семи часам мы были в Подпорожье. До охотничьего хозяйства Ровское — тринадцать километров. Без всякого транспорта. И не по дороге, а по замерзшей реке Свирь.
Что делать?
Какой-то алкаш посоветовал:
— Наймите сани за трояк.
Так мы и поступили. Двое мальчишек подрядились нас отвезти. Всю дорогу ехали молча. Кобыла медленно и осторожно ступала по льду. Попытки разговориться с мальчиками успеха не имели.
Грубин спросил одного:
— Папа и мама в колхозе работают?
Тот долго молчал. Потом многозначительно и туманно ответил:
— Эх... Поплыли муды да по глыбкой воды...
Если сани подбрасывало на ухабах, второй мальчишка глухо бормотал:
— Вот тебе и пьянки-хуянки...
Наконец лошадка остановилась.
— Тут на горке и будет Ровское...
Мы расплатились и полезли в гору. Из темноты донеслось:
— Но-о, блядина, я кому сказал?!.
Было совсем темно. Ни огонька кругом, ни звука. Пошли наугад вдоль реки.
Неожиданно Грубин исчез. Кричу:
— Ты где?
В ответ — загробный голос:
— Тут... Я в заброшенный колодец провалился.
Я пошел на звук. Обнаружил квадратную черную яму. Лег на снег и осторожно заглянул вниз.
В глубине ямы брезжил свет. Грубин закуривал.
— Тут сыро, — пожаловался он.
Я отполз. Выбрал трехметровое деревце. Терзал его около часа. Наконец с помощью топора изготовил шест. Вытащил приятеля наружу.
Грубин поблагодарил меня и сказал:
— Я там спички оставил...

В Ровское мы попали только утром. Оказывается, мальчишки высадили нас за четыре километра до цели...

О, крестьянские дети, воспетые Некрасовым. До чего же вы переменились! Отныне и присно нарекаю вас — колхозные дети!..

Леша Бобров стоял на пороге и застенчиво улыбался. Глаша с воем бросилась ко мне, лохматая и похудевшая.

— Замерзли? — спросил Бобров. — Хотите выпить?..

Как бы ни злился российский человек, предложи ему выпить, и он тотчас добреет...

За столом Леша рассказал:

— Я был в Ленинграде дважды. Хотел вернуть собаку — не могу. Привык...

Мы узнали, что Глаша совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул. Вытащила его из лужи. Кроме того, первая взяла след медведя-шатунa. И наконец, задушила лисицу.

Мне было как-то неприятно, что Глаша умертвила живое существо. Но что поделаешь — инстинкт...

Тут я вспомнил одну давнюю историю. Обедали мы с приятелем в ресторане «Балтика». Разговорились с официанткой. Угостили ее коньяком. И все это дружески, без малейшей корысти. Она же затем поступила довольно странно. Обсчитала меня рублей на шесть.

Откровенно говоря, я немного растерялся. Не денег, естественно, жаль — за человека обидно.

А приятель говорит:

— Чему ты удивляешься?! Соловей заливается не потому, что ему весело. Он просто не может иначе... Соловей поет, официантка ворует... Просто иначе не может... Природа такая, инстинкт...

— Продай собаку, — говорит Бобров.

— Как тебе не стыдно!

— Ну тогда подари. Здесь ей будет лучше.

— Ей-то — да. А нам?..

Мы еще немного выпили и ушли спать.

Проснулись к обеду. В столовой застали четверых незнакомых мужчин.

Леша отозвал меня в сторону:

— Эти ребята — из КГБ. Завтра на лося пойдут.

— Лось-то при чем? — говорю. — Мало им нашего брата?

— Да они ничего, — шептал Бобров, — они после работы меняются.

— В какую сторону?

Мальчики из органов выглядели сильно. Что-то было в них общее, типовое. Серийные, гладкие лица, проборы, шерстяная одежда. Один подсел ко мне. Заговорил отрывисто и четко:

— Ваша собака?.. Хорошо... Как зовут? Глафира? Это что, юмор? Ценю... Течка давно была? Не знаете? А кто же знает?.. Уши гноятся? Нет?.. Отлично...

— Садитесь обедать, — пригласил Бобров.

Обедали не спеша. Ребята из органов достали водку. Разговор то и дело принимал щекотливый характер.

— Свобода?! — говорил один. — Русскому человеку только дай свободу! Первым делом тещу зарежет!..

Я спросил:

— За что Мишу Хейфеца посадили? Другие за границей печатаются, и ничего. А Хейфец даже не опубликовал свою работу.

— И зря не опубликовал, — сказал второй. — Тогда не посадили бы. А так — кому он нужен?..

— Сахаров рассуждает, как наивный младенец, — говорил третий, — его идеи бесплодны. Вроде бы грамотно изложено, с единственной поправкой. То, что рекомендует Сахаров, возможно при одном условии. Если будет арестовано Политбюро Цека...

— Запросто, — сказал Валерий Грубин.

— Нам пора ехать, — говорю, — спасибо.

Мы собрали вещи. Бобров попрощался с Глашей. Его жена Фили (настоящее имя забыл) даже тихонько поплакала.

Мы вышли на дорогу. Ребята из органов толпились на крыльце.

— Заходите, — сказал один, — у нас бесподобный музей. Не для широкой публики, конечно. Но я устрою. Координаты, телефон — я дал.

— И вы приходите, — говорю.

— Только с ордером, — добавил Грубин.

Чекист посмотрел на моего друга внимательно и говорит:

— Ордер не проблема...

Мы попрощались и зашагали вдоль реки. Глаша бежала рядом, не оглядываясь.

— Интересно, — говорю, — что у них в музее хранится?

— Черт его знает, — ответил Грубин, — может, ногти Бухарина?..

Года через два я переехал в Таллинн. Глаша была со мной. Вскоре совершила очередной подвиг.

Меня послали в командировку на острова. Собаку я отдал на это время друзьям. Жили они в квартире с печным отоплением. Как-то раз затопили

печи. Раньше времени закрыли трубу. Вся семья уснула.

В квартире запахло угарным газом. Все спали.

Но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу и стащила одеяло. Хозяин запустил в нее шлепанцем, одеяло поправил. Глаша вновь его стащила и при этом залаяла.

Наконец двуногие сообразили, что происходит. Распахнули двери, выбежали на улицу. Хозяин повалился в сугроб. Глашу долго пошатывало и тошнило.

Днем ей принесли из буфета ЦК четыреста граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые партийные льготы коснулись достойного объекта...

В Таллинне я стал подумывать о Глашином замужестве. Позвонил знакомому кинологу. Он дал несколько адресов и телефонов.

Аристократическая генеалогия моей собаки побуждала к некоторой разборчивости. Я остановился на кобельке по имени Резо. Грузинское имя предвещало телесную силу и буйство эмоций. Тем более что владелицей Резо оказалась журналистка из соседней эстонской газеты — миловидная Анечка Паю.

Любовный акт должен был состояться на пустыре возле ипподрома.

Резо выглядел прекрасно. Это был рыжеватый крепыш с нахальными глазами. Он нервно вибрировал и тихонько скулил.

Аня пришла в короткой дубленке и лакированных сапогах. Залюбовалась моей собакой. Воскликнула:

— Какая прелесть!

Добавив:

— Только очень худенькая...

Как будто усомнилась, возможен ли хозяйству прок от такой невестки.

— Сейчас это модно, — говорю.

Аня полемично шевельнула округлым бедром.

Мы обменялись документами. Родословная у Глаши, повторяю, была куда эффектнее, чем у моего друга Володи Трубецкого. Документы Резо тоже оказались в порядке.

— Ну что ж, — вздохнула Аня и отстегнула поводок.

Я тоже отпустил Глафиру.

Был солнечный зимний день. На снегу лежали розоватые тени. Резо, почувствовав свободу, несколько обезумел. С лаем отмахал три широких круга. Глаша наблюдала за ним с вялым интересом.

Побегав, Резо опрокинулся в снег. Видимо, захотел охладить свой пыл. Или показать, каких трудов ему стоит удержаться от безрассудства.

Затем отряхнулся и подбежал к нам. Глаша насторожилась и подняла хвостик.

Кобелек, хищно приглядываясь, обошел ее несколько раз. Он как будто увеличился в размерах. Он что-то действительно бормотал. Мне показалось, что я расслышал:

— Вай, какая дэвушка! Стройная, как чинара. Юная, как заря... Ресторан пойдем. Шашлык будем кушать. Хванчкара будем пить...

Глашин хвостик призывно вздрагивал. Она шагнула к Резо, задев его плечом.

И тут случилось неожиданное. Визгливо твякнув, кобелек рванулся прочь. Затем прижался к лакированным сапогам хозяйки.

Глаша презгливо отвернулась.

Резо дрожал и повизгивал.

— Ну что ты?! Что ты?! — успокаивала его Аня. — Ну, будь же мужчиной!

Но Резо лишь повизгивал и дрожал.

Он был темпераментным импотентом, этот развязный кацо. Тип, довольно распространенный среди немолодых кавказцев.

Анечке было неловко за своего воспитанника. Она вроде бы даже захотела чем-то компенсировать его неуспех. Прощаясь со мной, шепнула:

— Калью улетает в Минск на семинар. Я позвоню тебе в конце недели.

Аня действительно позвонила, но грубая Татьяна обругала ее матом...

Когда меня увольняли из редакции, Аня вызвалась писать фельетон для эстонской газеты. Даже название придумала — «Сквозь темные очки». В том смысле, что я клеветник и очернитель.

Знакомый инструктор ЦК не без усилий приостановил это дело.

Но вернемся к моей собаке. Раза три я пытался выдать ее замуж. И все три попытки рухнули.

Второй жених обладал плебейской худобой и силой. Напоминал учителя физкультуры из провинции. Был чем-то похож на Аркадия Львова.

Он решил не тратить времени даром. Обойтись без любовной игры. Действовал, как говорится, на хапок.

Глаша его больно покусала.

А он еще и сопротивлялся, как жлоб... Так и ушел ни с чем. Веселый такой, без комплексов...

Почему же Глаша его отвергла?..

Видно, капля романтики необходима...

Третий жених беспрерывно чесался. Кроме того, у него был слабый мочевого пузырь. Да и шерсть грязноватая, с проплешинами. А родословная

— я посмотрел — исключительная. Значит, вырожденец. Наподобие Володи Трубецкого.

Глаша его просто игнорировала.

Так и осталась девицей. А дальше уже было поздно. Знакомый кинолог сказал:

— А вдруг не разродится, что тогда?.. Мы имеем право рисковать своей жизнью. Рисковать чужой — порядочным людям не дано...

Сейчас Глафире двенадцать лет.

Двенадцать лет мы знакомы.

Двенадцать лет нашу семью потрясают раздоры и всяческие катаклизмы.

Мы без конца ссорились и разводились. Семья, как говорится, рушилась. И даже возникали новые побочные семьи. Только Глаша оставалась неизменно близкой и родной, и любила нас всех одинаково.

Глаша часто спит у моих ног. Иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина. Например, мелкий частичек в томате. Или сквер в Щербаковом переулке...

Не печалься, все будет хорошо.

И прости, что у меня нет хвоста. (В Союзе был, и не один.) Прости, что у меня есть ботинки, сигареты и рассказы Фолкнера.

В остальном мы похожи. Немолодые раздражительные чужестранцы с комплексами... Сообща таскаем колбасу из холодильника...

Глава одиннадцатая

— Наш мир абсурден, — говорю я своей жене, — и враги человека — домашние его!

Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку.

В ответ я слышу:

— Твои враги — это дешевый портвейн и крашенные блондинки!

— Значит, — говорю, — я истинный христианин. Ибо Христос учил нас любить врагов своих...

Эти разговоры продолжаются двадцать лет. Без малого двадцать лет...

В Америку я приехал с мечтой о разводе. Единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены. Ее спокойствие не имело границ.

Поразительно, как это могут уживаться в человеке — спокойствие и антипатия...

Познакомились мы в шестьдесят третьем году. Это случилось так.

У меня была комната с отдельным входом. Окна выходили на помойку. Чуть ли не каждый вечер у меня собирались друзья.

Однажды я проснулся среди ночи. Увидел грязную посуду на столе и опрокинутое кресло. С тоской подумал о вчерашнем. Помню, трижды бежали за водкой. Кто-то высказался следующим образом:

«Пошли в Елисеевский! Туда — метров триста и обратно — примерно столько же...»

Я стал думать о завтраке в неубранной комнате.

Вдруг чувствую — я не один. На диване между холодильником и радиолой кто-то спит. Слышатся шорохи и вздохи. Я спросил:

— Вы кто?

— Допустим, Лена, — ответил неожиданно спокойный женский голос.

Я задумался. Имя Лена встречается не так уж часто. Среди наших знакомых преобладали Тамары и Ларисы. Я спросил:

— Каков ваш статус, Лена? Проще говоря, каков ваш социум эр актум?

Наступила пауза. Затем спокойный женский голос произнес:

— Меня забыл Гуревич...

Гуревич был моим знакомым по книжному рынку. Года два спустя его посадили.

— Как это забыл?

— Гуревич напился и вызвал такси...

Я стал что-то припоминать.

— На вас было коричневое платье?

— В общем, да. Зеленое. Его порвал Гуревич. А спала я в чьей-то гимнастерке.

— Это моя армейская гимнастерка. Так сказать — реликвия. Будете уходить — снимите.

— Здесь какой-то орден...

— Это, — говорю, — спортивный значок.

— Такой колючий... Спать не дал мне...

— Его, — говорю, — можно понять...

Наконец-то я вспомнил эту женщину. Худая, бледная, с монгольскими глазами.

К этому времени рассвело.

— Отвернитесь, — попросила Лена.

Я накрыл физиономию газетой. Тотчас же изменилась акустика. Барышня проследовала к двери. Судя по звуку — надев мои вельветовые шлепанцы.

Я выбрался из-под одеяла. День начинался странным и таинственным образом.

Затем неловкая толчея в передней. Полотенце вокруг моих не очень тонких бедер. Военная гимнастерка, не достигающая ее колен...

Мы не без труда разминулись. Я направился в душ. После душа в моей жизни наступает относительная ясность.

Выхожу через три минуты — кофе на столе, печенье, джем. Почему-то заливная рыба...

К этому времени Лена оделась. Античная прореха у ворота — след необузданной чувственности Фимы Гуревича — была ей к лицу.

— Действительно, — говорю, — зеленое...

Мы завтракали, беседуя о разных пустяках. Все было мило, легко и даже приятно. С какой-то поправкой на общее безумие...

Лена собрала вещи, надела туфли и говорит:

— Я пошла.

— Спасибо за приятное утро.

Вдруг слышу:

— Буду около шести.

— Хорошо, — говорю...

Мне вспоминается такая история. Шли мы с приятелем из бани. Останавливает нас милиционер. Мы насторожились, спрашиваем:

— В чем дело?

А он говорит:

— Вы не помните, когда были изданы «Четки» Ахматовой?

— В тысяча девятьсот четырнадцатом году. Издательство «Гиперборей», Санкт-Петербург.

— Спасибо. Можете идти.

— Куда? — спрашиваем.

— Куда хотите, — отвечает. — Вы свободны...

Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия. И в этот раз примерно такое же ощущение.

— Буду, — говорит, — около шести...

А у меня было назначено свидание в пять тридцать. Причем не с женщиной даже, а с Бродским. Далее — банкет по случаю чьей-то защиты.

Звоню, отменяю свидание. Банкет игнорирую. Мчусь домой в такси. Надо бы, думаю, вторые ключи заказать.

Жду. Приходит около шести. Раскрывает хозяйственную сумку, а там — консервы, яйца, хек.

— Вы, — говорит, — пока занимайтесь своими делами. А я все приготовлю.

Тут у меня дикое соображение возникло. А вдруг она меня с кем-то путает? С каким-то близким и дорогим человеком? Вдруг безумие мира зашло уже так далеко?..

Пужинали. Я сел заниматься. Лена вымыла посуду. Включила телевизор.

Телевизор у меня два года не работал. А тут вдруг заработал, как новенький...

Стал я замечать какие-то перемены. Над умывальником появились заграничные баночки. В моем шкафу повисло что-то замшевое. Возле холодильника утвердились короткие бежевые сапожки. Даже запах в квартире изменился...

Наступил вечер. Лена говорит:

— Вам чаю или кофе?

— Чаю.

Выпили чаю с какими-то пряниками. Я пряников до этого не ел лет тридцать...

Смотрю — час ночи. Вроде бы надо ложиться спать. Лена говорит:

— Посидите на кухне.

Сижу, курю. Прочел газету за минувший вторник. Захожу в комнату — спит. На том же самом диване. Только вместо гимнастерки — нечто розовое.

Я лег, прислушался — ни единого звука. Хоть бы пошевелилась во сне из кокетства...

Я минут десять подождал и тоже уснул.

Наутро все сначала. Легкая неловкость, душ и кофе с молоком...

— На этот раз, — говорит, — я задержусь. Буду после одиннадцати. Так что не волнуйтесь...

Я поехал в редакцию. Оттуда — в бар Союза журналистов. С какой-то шведкой познакомился, в гостиницу меня звала. Все повторяла:

— Казак, налей мне русской водки!..

Друзья на подпольный концерт собирались.

Авангардиста слушать. Причем авангардист довольно необычный — если можно так выразиться. Играет на виолончели лежа... Короче, множество соблазнов. А я домой спешу. В мой сумасшедший дом опаздываю.

Вечером я дождался ее и сказал:

— Лена, давайте поговорим. Мне кажется, нам следует объясниться. Происходит что-то непонятное. У меня есть несколько щекотливых вопросов. Разрешите без церемоний?

— Я вас слушаю, — говорит.

А лицо спокойное, как дамба.

Спрашиваю:

— Вам что, негде жить?

Барышня немного обиделась. Вернее — слегка удивилась:

— Почему это негде? У меня квартира в Дачном. А что?

— Да ничего, в сущности... Мне показалось... Я думал... Тогда еще один вопрос. Сугубо по-товарищески... Тысячу раз извините... Может быть, я вам нравлюсь?

Наступила пауза. Я чувствую, что краснею. Наконец она сказала:

— У меня к вам претензий нет.

Так и сказала — претензий, мол, не имею.

Наступила пауза еще более тягостная. Для меня. Она-то была полна спокойствия. Взгляд холодный и твердый, как угол чемодана.

Тут я задумался. Может, ее спокойствие выше половых различий? Выше биологического предрасположения к мужчине? Выше самой идеи постоянного местожительства?..

— И последний вопрос. Только не сердитесь. И если я не прав — забудьте... Короче, есть одно предположение... Вы, случайно, не работник Комитета государственной безопасности?..

Мало ли, думаю. Человек я все-таки заметный, невоздержанный.

Довольно много пью. Болтаю лишнее. «Немецкая волна» меня упоминала... Может быть, приставили к начинающему диссиденту эту фантастическую женщину?..

Тут уж, думаю, она раскричится. А если прав — тем более раскричится...

Слышу:

— Нет, я в парикмахерской работаю...

И затем:

— Если вопросов больше нет, давайте пить чай.

Так это все и началось. Днем я бегал в поисках халтуры. Возвращался расстроенный, униженный и злой. Лена спрашивала:

— Вам чаю или кофе?

Мы почти не разговаривали. Лишь обменивались краткой деловой информацией. Например, она сообщала:

— Вам звонил какой-то Бескин...

Или:

— Где тут у вас стиральный порошок?..

Мои дела ее не интересовали. Я тоже не задавал ей вопросов. Безумие приобретало каждодневные, обыденные, рутинные формы.

Мой режим несколько изменился. Поклонницы звонили мне все реже. Да и чего звонить, если откликается спокойный женский голос?

Мы оставались совершенно незнакомыми людьми.

Лена была невероятно молчалива и спокойна. Это было не тягостное молчание испорченного громкоговорителя. И не грозное спокойствие противотанковой мины. Это было молчаливое спокойствие корня, равнодушно внимающего шуму древесной листвы...

Прошла неделя. Субботним утром я не выдержал. Я сказал... Нет, крикнул:

— Лена! Выслушайте меня! Разрешите мне быть совершенно откровенным. Мы ведем супружескую жизнь... Но — без главного элемента супружеской жизни... У нас хозяйство... Вы стираете... Объясните мне, что все это значит? Я близок к помешательству...

Лена подняла на меня спокойный, дружелюбный взгляд:

— Я вам мешаю? Вы хотите, чтоб я ушла?

— Не знаю, чего я хочу! Я хочу понять... Любовь — это я понимаю. Разврат — понимаю. Все понимаю... Все, кроме этого нормализованного сумасшествия... Будь вы агентом госбезопасности, тогда все нормально... Я бы даже обрадовался... В этом чувствовалась бы логика... А так...

Лена помолчала и говорит:

— Если надо уйти — скажите.

И затем, слегка потупив узкие монгольские глаза:

— Если вам нужно ЭТО — пожалуйста.

— Что значит — ЭТО?

Ресницы были опущены еще ниже. Голос звучал еще спокойнее. Я услышал:

— В смысле — интимная близость.

— Да нет уж, — говорю, — зачем?..

Разве я осмелюсь, думаю, так грубо нарушить это спокойствие?!

Прошло еще недели две. и спасла меня — водка. Я кутил в одной прогрессивной редакции. Домой приехал около часа ночи. Ну и, как бы это получше выразиться, — забылся... Посягнул... Пошел неверной дорогой будущего арестанта Гуревича...

Брошенный мною камень лег на дно океана...

Это была не любовь. И тем более — не минутная слабость. Это была попытка защититься от хаоса.

Мы даже не перешли на «ты».

А через год родилась дочка Катя. Так и познакомились...

В качестве мужа я был приобретением сомнительным. Годами не имел постоянной работы. Обладал потускневшей наружностью девалифицированного матадора.

Рассказов моих не печатали. Я становился все более злым и все менее осторожным. Летом семидесятого года мои первые рукописи отправились на Запад.

У меня появились знакомые иностранцы. Сидели до глубокой ночи. Охотно пили водку, закусывая ливерной колбасой.

Коммунальный сосед Тихомиров угрожающе бормотал:

— Ну и знакомые у вас! Типа Синявского и Даниэля...

Осенью того же года меня снова упоминали западные радиостанции.

Лену мои рассказы не интересовали. Ее вообще не интересовала деятельность как таковая. Ее ограниченность казалась мне частью безграничного спокойствия.

В жизни моей, таким образом, царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося неконформизма. Справа расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия.

Так я и брел, спотыкаясь, узкой полоской земли между этими двумя океанами.

Лена тем временем ушла из своей парикмахерской. Устроилась на работу в издательство «Советский писатель» — корректором. Для меня это

было сюрпризом. Я и не знал, что она такая грамотная. Как не знал и многого другого. И не знаю до сих пор...

Через год произошел у нее конфликт с властями. Это было так.

Издательство выпустило дефицитную книгу Ахматовой. На долю сотрудников пришлось ограниченное количество экземпляров. Кого-то обошли совсем, и в том числе — мою жену.

Она пошла к директору издательства. Выразила ему свои претензии. Кондрашев в ответ сказал, понизив голос:

— Вы не улавливаете сложного политического контекста. Большая часть тиража отправлена за границу. Мы обязаны заткнуть рот буржуазной пропаганде.

— Заткните мне, — попросила Лена...

Так между нами образовалось частичное диссидентское взаимопонимание...

Шли годы. Росла наша дочка. Она говорила, подразумевая мой японский транзистор:

— Я твое «бибиси» на окно переставила...

Мы жили бедно, часто ссорились. Я выходил из себя — жена молчала.

Молчание — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие...

Я все жаловался на отсутствие перспектив. Лена говорила:

— Напиши две тысячи рассказов. Хоть один да напечатают...

Я думал — что она говорит?! Что мне проку в одном рассказе?!

И даже обижался.

Зря...

Разные у нас были масштабы и пропорции. Я ставил ударение на единице. Лена делала акцент на множестве.

Она была права. Победить можно только количеством. Вся мировая история это доказывает...

Я так мало знал о своей жене, что постоянно удивлялся. Меня удивляло любое нарушение ее спокойствия.

Как-то раз она заплакала, потому что ее унизили в домоуправлении. Честно говоря, я даже обрадовался. Значит, что-то способно возбуждать ее страсти...

Но это случалось редко. Чаще всего она бывала невозмутима...

В семидесятые годы началась эмиграция. Уезжали близкие друзья. На эту тему шли бесконечные разговоры. А я все твердил:

— Что мне там делать?! Нелепо бежать из родного дома! Если литература — занятие предосудительное, наше место в тюрьме...

Лена молчала. Вроде бы даже стала еще молчаливее.

Дни тянулись в бесконечном унылом застолье, частых проводах и ночных разговорах...

Я хорошо помню тот февральский день. Лена пришла с работы и говорит:

— Все... мы уезжаем... Надоело...

Я пытался что-то возражать. Говорил о родине, о Боге, о преимуществах высокого социального давления, о языковой и колористической гамме. Даже березы упомянул, чего себе век не прощу...

Но Лена уже пошла кому-то звонить.

Я рассердился и уехал на месяц в Пушкинский заповедник. Возвращаюсь — Лена дает мне подписать какие-то бумаги. Я спрашиваю:

— Уже?

— Да, — говорит, — все решено. Документы уже на руках. Уверена, что нас отпустят. Это может случиться в течение двух недель.

Я растерялся. Я не думал, что это произойдет так быстро. Вернее, надеялся, что Лена будет уговаривать меня.

Ведь это я ненавидел советский режим. Ведь это мои рассказы не печатали. Ведь это я был чуть ли не диссидентом...

До последнего дня я находился в каком-то оцепенении. Механически производил необходимые действия. Встречал и провожал гостей.

Наступил день отъезда. В аэропорту собралась толпа. Главным образом, мои друзья, любители выпить.

Мы попрощались. Лена выглядела совершенно невозмутимой. Кто-то из моих родственников подарил ей черно-бурую лису. Мне долго снилась потом оскаленная лисья физиономия...

Дочка была в неуклюжих скороходовских туфлях. Вид у нее был растерянный. В тот год она была совсем некрасивой.

Затем они сели в автобус.

Мы ждали, когда поднимется самолет. Но самолеты взлетали часто. И трудно было понять, который наш...

Тосковать я начал по дороге из аэропорта. Уже в такси начал пить из горлышка. Шофер говорил мне:

— Пригнитесь.

Я отвечал:

— Не льется...

С тех пор вся моя жизнь изменилась. Мной овладело беспокойство. Я думал только об эмиграции. Пил и думал.

Лена посылала нам открытки. Они были похожи на шифрованные

донесения:

«Рим — большой красивый город. Днем здесь жарко. По вечерам играет музыка. Катя здорова. Цены сравнительно низкие...»

Открытки были полны спокойствия. Мать перечитывала их снова и снова. Все пыталась отыскать какие-то чувства. Я-то знал, что это бесполезно...

Дальнейшие события излагаю пунктиром.

Обвинение в тунеядстве и притондержательстве... Подписка о невыезде... Следователь Михалев... Какие-то неясные побои в милиции... Серия передач «Немецкой волны»... Арест и суд на улице Толмачева... Девять суток в Каляевской тюрьме... Неожидающее освобождение... ОВИР...

Полковник ОВИРа сказал мне вежливо и дружелюбно:

— Вам надо ехать. Жена уехала, и вам давно пора...

Из чувства противоречия я возразил:

— Мы, — говорю, — не зарегистрированы.

— Это формальность, — широко улыбнулся полковник, — а мы не формалисты. Вы же их любите?

— Кого — их?

— Жену и дочку... Ну, конечно, любите...

Так моя любовь к жене и дочке стала фактом. И засвидетельствовал его — полковник МВД...

Я пытался сориентироваться. В мире было два реальных полюса. Ясное, родное, удушающее — ЗДЕСЬ и неведомое, полуфантастическое — ТАМ. Здесь — необозримые просторы мучительной жизни среди друзей и врагов. Там — всего лишь жена, крошечный островок ее невозмутимого спокойствия.

Все мои надежды были — там. Не знаю, чего ради я морочил голову полковнику ОВИРа...

Через шесть недель мы были в Австрии. Вена напоминала один из районов Ленинграда. Где-то между Фонтанкой и Садовой.

Единственной серьезной деталью городского пейзажа была река. Река, которая на третий или четвертый день оказалась Дунаем.

На сероватом уличном фоне выделялись проститутки. Они были похожи на героинь заграничных кинокомедий.

Мы поселились в гостинице «Адмирал». Мать целыми днями читала Солженицына. Я что-то писал для эмигрантских газет и журналов. Главным образом, расписывал свои несуществующие диссидентские подвиги.

К этому времени Лена уже переселилась в Америку. Ее письма становились все лаконичнее:

«Я работаю машинисткой. Катя ходит в школу. Район сравнительно безопасный. Хозяин дома — симпатичный пожилой американец. Его зовут Эндрью Коваленко...»

В Австрии мы прожили до лета. Вена была промежуточным этапом между Ленинградом и Америкой. Наверное, такое расстояние можно одолеть лишь в два прыжка.

Наконец мы получили американские документы. Семь часов над океаном показались мне вечностью. Слишком мало интересного в пространстве как таковом.

Самолет был американской территорией. Бортпроводницы держались независимо.

В аэропорту имени Кеннеди нас поджидали друзья. Известный фотограф Кулаков с женой и сыном. Поздоровавшись, они сразу начали ругать Америку.

— Покупай «тойоту», старик, — говорил Кулаков, — а еще лучше — «фольксваген». Американские машины — дерьмо!..

Я спросил:

— А где Лена и Катя?

Кулаков протянул мне записку:

«Располагайтесь. Мы в Клубе здоровья.

Будем около восьми. Еда в холодильнике. Лена».

Мы поехали домой, во Флашинг. Окружающий горизонтальный пейзаж напоминал изнанку Московского вокзала. Небоскребы отсутствовали.

Мать посмотрела в окно и говорит:

— Совсем пустая улица...

— Это не улица, — возразил Кулаков, — это хайвей.

— Что значит — хайвей? — спросила мать.

— Большак, — ответил я.

Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома. Кулаков помог нам внести чемодан. Затем сказал:

— Отдыхайте. В Европе уже ночь. А завтра я вам позвоню...

И уехал.

Я, конечно, не ждал, что меня будет встречать делегация американских писателей. Но Лена приехать в аэропорт, я думаю, могла бы...

Мы оказались в пустой квартире. На полу в двух комнатах лежали матрасы. Повсюду была разбросана одежда.

Мать заглянула в холодильник и говорит:

— Сыр почти такой же, как у нас...

Вдруг я почувствовал безумную усталость.

Лег поверх одеяла и закурил. Контурь действительности расплывались.

Кто я и откуда? Что с нами происходит? И чем все это кончится?..

Новая жизнь казалась слишком обыденной для значительных перемен.

Еще я подумал:

«Как возникает человеческая близость? Что нужно людям для ощущения родства?..»

Я проснулся рано утром. За окном покачивалась ветка. Рядом кто-то был.

Я спросил:

— Кто это?

— Лена, — ответил спокойный женский голос.

И дальше:

— Как ты растолстел! Тебе нужно бегать по утрам.

— Бежать, — говорю, — практически некуда... Я бы предпочел остаться здесь. Надеюсь, это возможно?..

— Конечно. Если ты нас любишь...

— Полковник говорит — люблю.

— Любишь — так оставайся. Мы не против...

— При чем тут любовь? — сказал я.

Затем добавил:

— Любовь — это для подростков... Тут уже не любовь, а судьба...

Между прочим, где Катя?

— На циновке рядом с бабушкой...

Затем Лена сказала:

— Отвернись.

Я накрыл физиономию американской газетой.

Лена встала, надела халат и спрашивает:

— Тебе чаю или кофе?

Тут появилась Катя. Но это уже другая тема...

Глава двенадцатая

Когда-то ее не было совсем. Хотя представить себе этого я не могу. И вообще, можно ли представить себе то, чего не было? Затем ее принесли домой. Розовый, неожиданно легкий пакет с кружевами.

Любопытно отметить — Катино детство я помню хуже, чем свое.

Помню, она серьезно болела. Кажется, это было воспаление легких. Ее увезли в больницу. Мать и бабушку туда не пускали. Положение было угрожающее. Мы не знали, что делать.

Наконец меня вызвал главный врач. Это был неопрятный и даже выпивший человек. Он сказал:

— Не оставляйте жену и мамашу. Будьте рядом...

— Вы хотите сказать?..

— Сделаем все, что можно, — ответил доктор.

— Пустите в больницу мою жену.

— Это запрещено, — сказал он.

Наступили ужасные дни. Мы сидели возле телефона. Черный аппарат казался главным виновником несчастья. То и дело звонили посторонние, веселые люди. Мать иногда выходила на лестницу — плакать.

Как-то раз ей повстречался между этажами старый знакомый. Это был артист Меркурьев. Когда-то они вместе работали. Мать рассказала ему о наших делах. Меркурьев порылся в карманах. Обнаружил две копейки. Пошел в автомат.

— Меркурьев говорит, — сказал он, — пустите Норку в больницу...

И мать сразу пустили. А затем и жене разрешили дежурить ночами. Так что единственное оружие в борьбе против советского государства — абсурд...

В общем, дочка росла. Ходила в детский сад. Иногда я забирал ее домой. Помню белую деревянную скамейку. И кучу детской одежды, гораздо больше предметов, чем у взрослых... Вспоминаю подвернутый задник крошечного ботинка. И то, как я брал дочку за пояс, легонько встряхивая...

Затем мы шли по улице. Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладони. Даже сквозь рукавицу чувствовалось, какая она горячая.

Меня поражала ее беспомощность. Ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру... Ее зависимость от моих решений, действий, слов...

Я думал — сколько же лет это будет продолжаться? И отвечал себе —

до конца...

Припоминается один разговор в электричке. Мой случайный попутчик говорил:

«...Я мечтал о сыне. Сначала огорчился. Потом — ничего. Родись у нас мальчик, я бы капитулировал. Рассуждал бы примерно так: сам я немногого добился в жизни. Мой сын добьется большего. Я передам ему опыт своих неудач. Он вырастет мужественным и целеустремленным. Я как бы перейду в моего сына. То есть погибну...

С дочкой все иначе. Она нуждается во мне, и так будет до конца. Она не даст мне забыть о себе...»

Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула.

Помню, она вернулась из детского сада. Не раздеваясь, спросила:

— Ты любишь Брежнева?

До этого мне не приходилось ее воспитывать. Она воспринималась как ценный неодушевленный предмет. И вот — я должен что-то говорить, объяснять...

Я сказал:

— Любить можно тех, кого хорошо знаешь. Например, маму, бабушку. Или на худой конец — меня. Брежнев мы не знаем, хоть часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек. А может быть — и нет. Как можно любить незнакомого человека?..

— А наши воспитатели его любят, — сказала дочка.

— Вероятно, они лучше его знают.

— Нет, — сказала дочка, — просто они — воспитатели. А ты всего лишь папа...

Потом она стала быстро взрослеть. Задавала трудные вопросы. Вроде бы догадывалась, что я неудачник. Иногда спрашивала:

— Что же тебя все не печатают?

— Не хотят.

— А ты напиши про собаку.

Видимо, дочке казалось, что про собаку я напишу — гениально.

Тогда я придумал сказку:

«В некотором царстве жил-был художник. Вызывает его король и говорит:

— Нарисуй мне картину. Я тебе хорошо заплачу.

— Что я должен нарисовать? — спросил художник.

— Все, что угодно, — ответил король, — за исключением маленькой серой букашки.

— А все остальное — можно?! — поразился художник.

— Ну, конечно. Все, кроме маленькой серой букашки.

Художник уехал домой.

Прошел год, второй, третий. Король забеспокоился. Он приказал разыскать художника. Он спросил:

— Где же обещанная картина?

Художник опустил голову.

— Отвечай, — приказал король.

— Я не могу ее написать, — сказал художник.

— Почему?

Наступила долгая пауза. Затем художник ответил:

— Я думаю только о серой букашке...»

— Ты поняла, что я хотел сказать?

— Да.

— Что же ты поняла?

— Видно, он хорошо ее знал.

— Кого?

— Букашку...

Затем наша дочка ходила в школу. Училась довольно прилично. Хотя ярких способностей не обнаруживала.

Сперва я огорчился. А потом успокоился. У талантливых — одни несчастья в жизни...

Катина жизнь протекала без особых драм. В школе ее не обижали. Я был в детстве гораздо застенчивее. Все же у нее имелся полный комплект родителей. К тому же — бабушка и собака.

Ко мне дочка относилась хорошо. Немного сочувствия, немного презрения. (Ведь я не умел чинить электричество. Ну, и мало зарабатывал...)

Как все ленинградские школьники, она была довольно развитой. Ей было известно мое отношение к властям. Если по телевидению выступал Брежнев, Катя следила за моей реакцией...

Она говорила мне:

— Зачем ты ходишь раздетый?

Видимо, я был ей физически неприятен. Может, так и должно быть. Детям свойственна такого рода антипатия. (Родителям — никогда.) У нее стал портиться характер. Я подарил ей отросток кактуса. Написал такое стихотворение:

Наша маленькая дочка
Вроде этого цветочка —

Непременно уколою,
Даже тех, кого люблю...

В семьдесят восьмом году мы эмигрировали. Сначала уехали жена и дочка. Это был — развод. Хотя формально мы развелись за несколько лет до этого. Развелись, но продолжали мучить друг друга. И конца этому не было видно.

Говорят, брак на грани развода — самый прочный. Но мы переступили эту грань. Моя жена улетела в Америку, доверив океану то, что положено решать самим.

Дочка поехала с ней. Это было естественно. А я остался с матерью и Глашей.

Я не хотел уезжать. Вернее, знал, что еще рано.

Мне нужно было подготовить рукописи. Исчерпать какие-то возможности. А может быть, достигнуть критической точки. Той черты, за которой начинается безумие.

И я остался. Мать осталась со мной. Это тоже было естественно.

После отъезда жены и дочери события развивались в ускоренном темпе. Как в романе начинающего автора, торопливо дописывающего последние страницы.

Меня отовсюду выгнали. Лишили последних заработков. Я все больше и больше пил.

Затем — какие-то странные побои в милиции. (Я бы воспринял их метафизически, не повторись они дважды.) Неделя в Каляевской тюрьме. И наконец — ОВИР, таможня, венские сосиски...

Четыре года я живу в Америке. Опять мы вместе. Хотя формально все еще разведены.

Отношения с дочкой — прежние. Я, как и раньше, лишен всего того, что может ее покорить.

Вряд ли я стану американским певцом. Или киноактером. Или торговцем наркотиками. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавить ее от проблем.

Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль. Не интересуюсь рок-музыкой. А главное — плохо знаю английский.

Недавно она сказала... Вернее, произнесла... Как бы это лучше выразиться?.. Короче, я услышал такую фразу:

— Тебя наконец печатают. А что изменилось?

— Ничего, — сказал я, — ничего...

Глава тринадцатая

Заключение

Перед вами — история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна. Мне осталось добавить лишь несколько слов. 23 декабря 1981 года в Нью-Йорке родился мой сынок. Он американец, гражданин Соединенных Штатов. Зовут его — представьте себе — мистер Николас Доули.

Это то, к чему пришла моя семья и наша родина.

Послесловие

Наибольшую славу в США Сергею Довлатову принесла публикация десяти рассказов в журнале «Ньюйоркер», одном из самых престижных американских периодических изданий. Из них пять представляют собой главы из книги «Наши»: «Мой старший брат», «Полковник говорит — люблю», «Дядя Арон», «Дядя Леопольд», «Отец» (перечислены в порядке публикации; в книге это главы 9, 11, 6, 4, 8). Все они писались в 1980-е гг. Рекомендовал прозу Довлатова «Ньюйоркеру» Иосиф Бродский. По-английски «Наши» вышли в 1989 г.: «Ours. A Russian Family Album» — New York: Weidenfeld & Nicolson.

Американские отзывы на книгу — и вообще на прозу Довлатова — отличаются исключительной толерантностью: буквально ни одного отрицательного. С неподдельной теплотой писали о русском эмигранте Курт Воннегут, Джозеф Хеллер, Ирвинг Хау... Появлялись в американских газетах и такие отклики: «Довлатов пишет с первозданной энергией: его персонажи обрисованы столь же ярко, как персонажи Достоевского...»

С Достоевским и вправду связан замысел книги «Наши» как целого: он восходит к главе из «Бесов» — «У наших».

В середине 1960-х Довлатов написал в Ленинграде новеллу «Наши», сатирически изображающую близкий ему по университету круг молодых филологов (в романе Достоевского глава «У наших» изобличает компанию заговорщиков, которой манипулирует Петр Верховенский). Однако книга «Наши» писалась много позже, в эмиграции, и впервые напечатана в 1983 г. американским издательством Карла Проффера «Ардис». Персонажи ее уже иные, и относится к ним автор несравненно мягче, чем к героям ранней новеллы. В то же время характерный для Довлатова принцип «виртуально документального» описания событий выражен в этой книге ярче, чем в каких-либо других его вещах.

Вопрос о прототипах — едва ли не самый острый из всех, что писателю пришлось разрешать в своей художественной этике. Довлатов рад был, когда его истории пересказывались как случившиеся в жизни. Рад был именно потому, что слепком с этой жизни они никогда не бывали. Правдивость вымысла для писателя существенней верности факту. Протокольной документальностью он пренебрегал, чтобы тут же творчески ее воссоздать.

Контур жизни должен быть для читателя радужно размыт, полагал

Довлатов. Художество — дело артистическое, и, чтобы остаться *самим собой* при свете рамп, нужно наложить на лицо грим. Грим и освещение выявляют важные свойства натуры, в состав самой натуры не входя.

Так что если начать судить о довлатовских родственниках по «Нашим», вообще выискивать в его произведениях, «кто есть кто», то интрига от этого лишь запутается, а смысл ее ускользнет. Результаты же расследования — сильно огорчат. И по весьма своеобразной причине. Аморфная реальность — обыденнее и тусклее довлатовского художественного полотна.

Андрей Арьев